Life is not a choice. Life is a chance.

Антон Борисов

КАНДИДАТ НА ВЫБРАКОВКУ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эту книгу стоило бы продавать в аптеке, наравне с антидепрессантами. И не только оттого, что свои повседневные проблемы меркнут на фоне исковерканной жизни российского инвалида. А еще потому, что меж страниц сердцем бьется суждение — что бы не приключилось, не сдавайся! В нескольких местах сломана правая рука — учись писать левой. Весь мир — из положения лежа — ползи. Адская боль от ежесекундных переломов — терпи. Отец стыдится тебя, маленькая сестра бьет — прощай! Родная мама желает тебе смерти — все равно люби! Какая же должна быть сила духа, воли и любви в сердце, чтобы на протяжении всей жизни, описанной в этом горько-откровенном дневнике, чтобы не сдать Ему бы сильное тело, и он бы двигал горы, крутил земной шар! И проникшись этой идеей, ты не замечаешь, как сам начинаешь вертеть его…

- Антон Борисов
  -
  - 13 сентября 1999 года
  - Мамины нервы
  - Выпускной бал
  - На пути в институт
  - Учебное пособие
  - Бенефис
  - «Оккупант»
  - «Принц датский-2» и гегемон
  - Happy birthday to you!

Антон Борисов
Кандидат на выбраковку

Мама, я хочу выразить свою глубокую признательность тебе, отцу, сестренке, бабушкам и дедушке. Я помню о вас и никогда не смогу забыть. Вот только минувшее, подчас, отдает невыразимой горечью и фантомной болью в ночи, поэтому, мои оценки ваших действий и поступков иногда будут резки, воспоминания тяжелы, но так я тогда воспринимал происходящее с нами всеми. Я благодарю и благословляю вас за терпение, честно выполненный родительский и родственный долг. Ведь вы могли бы просто отказаться от меня, бросить, сдать в приют, и вряд ли бы мне удалось повидать мир, узнать, что такое дружба, пообщаться с тысячами прекрасных людей и непосредственно, и через интернет, стать микроскопической частичкой цивилизации, написать эти строки. Болезнь, неумолимая и неизлечимая, разлучила нас. Вы боролись с моим недугом, и одновременно со своим отчаянием, бытовыми и личными проблемами, государством. Боролись, пока у вас хватало сил. Вы люди и возможности ваши не беспредельны. Мне было неведомо, что творилось в ваших душах, как корежился ваш внутренний мир, поэтому я заранее прошу прощения, если по неведению буду категоричен или несправедлив в оценках. Я глубоко убежден в одном — стыдиться вам нечего. Да благословит вас всех Господь!

Твой сын, Антон.

Октябрь 2006 года.

13 сентября 1999 года

Я летел: Сразу оговорюсь: многие слова, которыми мы пользуемся в повседневной жизни для меня имеют свое значение и смысл. Обычно некто говорит: 'Я летел', - и окружающие понимают, что это значит: человек купил билет, прошел регистрацию, сел в эргономичное самолетное кресло и — через несколько часов комфорта, скрашенного обедом и напитками, общением с попутчиками, бдением за компьютером или расслабляющим резиновым сном — оказался в нужной точке планеты. Если в пути у него возникают физиологические потребности, он без проблем решает их, сходив в туалет. Фраза 'я летел' применительно ко мне содержит иное наполнение, как, собственно и все остальные словосочетания.

Итак, я летел, а точнее перемещался в пространстве посредством самолета 'Аэрофлота' по маршруту 'Москва-Сиэттл', и все время, все 11 часов полета, старательно делал вид, что я сплю. Крепко сплю. Я никогда не могу уснуть ни в дороге, ни где-либо в гостях и этот полет в Америку обещал мне изматывающую одиннадцатичасовую бессонницу.

Я лежал в коляске, наглухо прикрученный к ней ремнями 'безопасности'. Лежал, закрыв глаза, слушал равномерный ватный гул двигателей и представлял, как через некоторое время встречусь с друзьями, с Пашей и Лидой, с которыми не виделся уже семь лет. Я пытался вспомнить, что мне нужно будет сделать в первую очередь, после возвращения домой. Придется вновь искать работу, потому что вряд ли, за те два месяца, что я проведу в поездке, за мной сохранится рабочее место. Точнее, не одно, а три, поскольку я умудрялся работать сразу в нескольких организациях, годами не вылезая из своей однокомнатной квартиры. Я пытался вообразить, какие, хотя бы маленькие, подарки и кому я должен привезти из этой поездки за океан.

— Вам нужно чего-нибудь?

Вопрос прозвучал неожиданно — я летел один и настроился практически на полную самоизоляцию. Было немного тревожно и отсутствовало желание общаться с кем-либо:

Еще в тот момент, когда друзья заносили меня с коляской в самолет и устанавливали ее, укрепляя между перегородкой в салоне и креслами, еще в тот момент меня спросили, летит ли кто-нибудь со мной. В ответ на мое отрицание последовал недоуменный вопрошающий взгляд: 'А как же Вы будете? Этот вопрос отражался в глазах молодой женщины, старшей среди стюардесс.

— Не переживайте, все будет нормально. Мне ничего не понадобиться и я Вас не побеспокою, — я улыбнулся и сделал просительное лицо. — Вы мне только помогите, пожалуйста, по прибытии в Сиэтл. Мне нужно будет, чтобы кто-нибудь помог мне в аэропорту найти друзей, которые должны меня встречать.

— Конечно, вам обязательно помогут.

Она говорила вежливо, но, в широко раскрытых зрачках ее глаз явственно читалось охватившее стюардессу смятение. Или, если угодно, профессионально подавляемая волна взаимоисключающих эмоций. Она не могла понять, как это так, со мной нет никого из сопровождающих. А если что-то: Что тогда надо со мной делать?… С какого бока ко мне подступиться?… Как может человек в таком малом объеме и беспомощном виде путешествовать один?… Да, что там путешествовать? Как он вообще, жить-то может?

Всматриваясь в растерянные глаза бортпроводницы я сам начал теряться: а вдруг 'Аэрофлот' ввел какие-нибудь новые, неизвестные мне, правила, относительно 'нестандартных людей' и меня в последний момент ссадят и уже не впустят на самолет без сопровождающего, который моим сценарием не предусматривался. Я как мог успокоил симпатичную представительницу 'Аэрофлота', постаравшись вложить в голос всю уверенность и беззаботность на которые был способен. В конце концов, я не представляю никакой опасности для окружающих, не являюсь животным. Билет мной тоже куплен вполне законно, на деньги, собранные моими друзьями — близкими и незнакомыми, узнавшими о моих проблемах через форум партии 'Яблоко'. Я имею право путешествовать самостоятельно. Устроившись в салоне, я закрыл глаза. Пусть думают, что я безмятежно сплю и, следовательно, мне ничего не надо. Однако, персонал авиалайнера так не считал.

— Вам нужно чего-нибудь? — я услышал вопрос во второй раз, и решил, что следует на короткое время 'проснуться'.

Рядом стояла молодая женщина, лет двадцати пяти, в голубой униформе. Она улыбалась, а в глазах — то же самое тревожное недоумение. Окажись мы в иной обстановке, я бы не упустил возможности пообщаться подольше, однако, вокруг нас сидели пассажиры, многие из которых ошеломленно не спускали с меня глаз. Жгучие взгляды некоторых из них я ощущал даже сквозь свой 'очень глубокий сон'.

— Нет, спасибо! Все нормально.

— Хорошо! Если что-то потребуется, позовите меня. Я все время буду здесь неподалеку.

— Спасибо.

Она пошла дальше, унося с собой вежливое, испуганное лицо. Я ее не убедил. Впрочем, у меня не было такой задачи. Я не собирался никому объяснять, что, готовясь к полету, не ел уже более двадцати четырех часов и не пил, также, часов восемь, не меньше. Потому как знал: если в полете у меня возникнет потребность облегчить организм, то помочь мне в этом вопросе будет некому. А даже и окажись рядом друг, что это изменит? Ну, не станем же мы устраивать физиологическое шоу, на глазах у всех пассажиров? А тащить в самолетную уборную мою неуклюжую коляску — вариант совсем скверный — задействовать придется весь салон. Так что оставалось уповать только 'на воздержание', причем во всех его формах. Я уже, правда, немного созрел для туалета, и сильно хотел пить — в горле все пересохло. Но, полет длится всего одиннадцать часов, ну еще плюс часа полтора-два на взлет и посадку. Нужно просто немного подождать. А ждать и терпеть я умею. Времени и возможностей научиться этому, у меня было предостаточно. В общем, все шло нормально.

Стюардесса отошла и я вновь закрыл глаза. Нужно было со смыслом прожить эти неизбежные часы пребывания в самолете. Читать я не мог, во-первых, у меня ничего для этого оказалось. Я летел один, а потому взял с собой только самое необходимое. Я даже отказался захватить посылку для Паши с Лидой. А, во-вторых, в моей коляске не то, что читать, просто лежать было неудобно. Мне оставалось только одно — вспоминать и размышлять.

Для этого сейчас был самый подходящий момент.

Странно у меня все сложилось. По прогнозам врачей я должен был умереть много лет назад. Не умер.

Что-то не сработало.

Обреченный на неподвижность, на вечную зависимость от кого-то, на скуку и одинокое беспомощное умирание в каком-нибудь забытом Богом и государством доме призрения я, тем не менее, сам, без сопровождающих, летел на высоте десяти тысяч метров через океан к друзьям, живущим на другом континенте:

Опять что-то не сработало.

Или наоборот, сработало 'вопреки'?

А для чего?

Было о чем поразмыслить.

И пока я перемещался в пространстве, память унесла меня в прошлое.

Ненужное возвращение

За весь свой 'санаторный' период я еще один раз 'погостил' у родителей. Мне тогда было четырнадцать. Наступало лето. В

санатории, в нашем отделении, грянул капитальный ремонт. На время ремонта всех детей решено было выписать по домам.

Я стремился домой, а мои родители не хотели меня забирать. Врачи несколько раз посылали телеграммы близким, чтобы за мной приехали, но близкие никак не реагировали. Это было непонятно и тревожно, потому что мой дом находился от санатория на расстоянии двух трамвайных остановок. Заканчивался учебный год. Все дети разъезжались по домам. Что со мной делать дальше никто не знал. Уезжала моя подружка Наташа. Она тоже считалась старожилом санатория — лечилась от туберкулеза позвоночника. Будучи совсем детьми, мы лежали в одной палате. Детей до восьми лет, клали вместе, и никто не обращал внимания на пол ребенка. Я в такой палате, для 'маленьких', пролежал до десяти лет.

Наташка пришла попрощаться.

— Антон, а ты что будешь делать? Все почти разъехались.

— Я тоже, возможно, скоро уеду. Может быть, меня заберут, — сказал я неуверенно.

— А давай напишем записку твоим? — вдруг предложила Наташка.

— Какую?

— Я сейчас напишу.

Она села около моей тумбочки и стала что-то царапать шариковой ручкой.

— Вот, смотри!

Перед моими глазами оказался листок бумаги, на котором было написано: 'Мать, почему ты не забираешь меня?… — а дальше очень грязное ругательство.

— Нет, я так не хочу! У меня очень хорошие и мама, и папа.

— Хорошие? Да ты им не нужен. Ты же видишь, не хотят они, чтобы ты ехал домой.

— Нет. Порви то, что написала. Порви!

— Хорошо. Ну, я пошла. Может быть, еще увидимся. Пока.

Она протянула мне руку.

Через два дня за мной все же приехал дед. Когда я очутился дома, то понял, что здесь меня не только не ждали, но и не желали видеть.

— Ты что ругательные письма пишешь? — с порога набросилась мать.

— Какие письма? — я ничего не понимал.

— Вот это письмо, — она протянула мне ту самую Наташкину записку. — Оно оказалось в нашем почтовом ящике. Лежало без конверта.

— Но я этого не писал. Ты же видишь, что это не мой почерк?

Мама все равно не поверила: 'Тут твоя подпись'.

Моя подружка Наташа перестаралась. И без того меня считали здесь лишним. Я видел это в вопросах и взглядах сестренки, которая уже давно привыкла к тому, что она главная в этой семье и все внимание должно уделяться ей одной. Я читал это в поведении матери, в ее глазах, когда она что-то делала для меня. Нет, ей не приходилось 'выгребать' из-под меня, или что-то подобное. Но, тем не менее, я не мог обходиться без посторонней помощи. Мне нужно было помогать мыться, давать еду, воду, выносить баночку с мочой и пакеты с калом, нужно было постоянно помнить, что делать со мной, если они захотят поехать куда-нибудь. Мать была уверена — она тратит силы напрасно, никакой пользы от меня в будущем ожидать не приходится — я дерево никогда не принесущее плодов — вот что говорили ее глаза, вот что я в них читал.

Я читал это и в глазах отца, которого видел редко. К тому времени, его назначили директором рыбного завода; он работал допоздна и часто по выходным. Иногда, он заходил в нашу с сестренкой комнату, садился напротив меня и, очень трудно выразить, каким был его взгляд. Я не видел в нем ничего, что очень хотел бы видеть. Ясно, очень отчетливо я прочитывал только укор: 'Что же ты так подвел меня, сын?

* * *

В июне, практически сразу после моего появления дома, мать решила, что лучше всего нам поехать на дачу и там провести месяц — самое жаркое время года. Кондиционеры для рядовой советской семьи в то время были приборами просто космической недосягаемости. Наша семья не считалась бедной — все же, отец имел престижную должность, тем не менее, кондиционера у нас не было. Я вообще не слышал о кондиционерах в то время, хотя астраханский климат, летом, переносится очень тяжело. Температура порой поднимается выше сорока градусов по Цельсию в тени. Поэтому, отец согласился с матерью, несмотря на то, что ему приходилось каждый день бывать на рыбзаводе. Но у родителей имелся автомобиль 'Жигули', приобретенный ими уже после переезда в Астрахань на деньги, заработанные отцом на китобойных промыслах.

Был назначен день переезда. Я ожидал от него переломов, так как при переезде меня обязательно начнут переносить. И не один раз. Утром назначенного дня мама о чем-то говорила с отцом, перед тем, как он отправился на работу.

— Сынок, мы сейчас с Таней уедем, а после шести часов приедет папа и привезет тебя.

Мама поставила на пол тарелку с обычным моим завтраком и обедом: два сырых яйца, хлеб, соль и чай. Я остался ждать отца. Однажды, когда мне было четыре года, меня так вот оставили одного. Я ждал, ждал, ждал родных. Обычно ничего страшного не происходило, но в тот день, точнее в тот вечер, они сильно запоздали. Когда растворились последние солнечные лучи, проникавшие в нашу квартиру, стало темно. Освещение я включить не мог. Оставалось только по-щенячьи подползти к входной двери и, вглядываясь в тончайшую полоску света у самого пола, прислушиваться к шагам на лестнице. Проходили мимо люди: вот кто-то вошел в квартиру напротив, кто-то поднялся этажом выше. Я хорошо научился слышать и различать все, что делается снаружи. У меня не было возможности выйти и посмотреть, но у меня имелись уши. Я все время вслушивался в шумы, в звуки, ждал, когда в дверной замок вставится ключ — я узнал бы этот звук из тысячи самых разнообразных звуков. Но было тихо.

И тут мне стало страшно. Не за свою жизнь, а что больше никто никогда не придет и я останусь один, в этой пустой трехкомнатной, страшной квартире.

Я заплакал. Сначала тихо. Потом громче — вдруг захотел, чтобы меня услышали. Через минуту я уже орал.

К двери подошла женщина из квартиры напротив.

— Что случилось?

— Мама! Мама! Мама не идет! — орал я.

Подошел еще кто-то, они тихо невнятно поговорили. Отошли.

Через какое-то время я услышал долгожданное, спасительное позвякивание в дверном замке.

— Ты что это устроил истерику? — строго спросила мать.

— Чтобы я больше этого не слышал, — почти со злостью бросил отец.

И больше я ничего не боялся. Нет, боялся, конечно, но старался никогда не показывать этого.

* * *

В день переезда на дачу я вновь ждал. Стояла жара. Наша квартира располагалась на первом этаже, окна открыты. На этот раз я слушал улицу. Там, возле подъезда, как и всегда, сидели соседки. Пожилым женщинам делать было нечего, и они, обсуждали живущих, проходящих мимо, всех кого видели.

— Нина, здравствуй! Ты с работы? Посиди с нами, устала, поди?

— Здравствуйте, тетя Лида! Нет, спасибо, я очень устала. Да и ужин готовить нужно. Мой с работы придет, а дома ничего не приготовлено.

— Да и, правда, ты вот все по дому, по дому. Он тебя обижает?

— Нет, что Вы такое говорите, тетя Лида? Он меня никогда не обижает. Выпить любит, но так ведь он работает много, иногда и расслабиться нужно. Я пойду. Позже, может быть, выйду.

— Ладно, Нина, иди. Работаешь ты много, худющая какая. Я ведь знаю, что твой работает много. Молодец он у тебя. Все в дом, — голос у говорящей был сочувствующий, почти жалеющий.

Послышались удаляющиеся по лестнице шаги.

— Она ленивая, да и муж такой же. Как напьется, так бьет ее. Видимо, есть за что, — голос принадлежал все той же 'тете Лиде', которая только что жалела ушедшую соседку.

Зная о злых соседских языках, мать старалась не вступать в разговоры с лавочными 'сиделками'. И очень редко кого-то из них приглашала домой. Хотя, тетушки ее уважали. Во всяком случае, демонстрировали это, когда кто-то из них, приходил 'на минутку' по своим соседским делам: попросить взаймы соли или теста.

Я слушал эти лавочные пересуды, ждал отца и старался прокрутить в воображении как он станет переносить меня в машину: как возьмет на руки, как будет держать, закрывая входную дверь ключом, выходя из подъезда, открывая дверцу машины, укладывая на сиденье, как в это время мне лучше удерживать рукой ногу. Короче, это был обычный процесс: я мысленно готовился к переезду, стараясь предусмотреть все возможное, чтобы не сломаться, а если сломаться, то не в нескольких местах одновременно.

Время подходило к семи вечера, когда я услышал, как в замок вставили ключ — пришел отец.

— Что, сын, ждешь? Я сейчас помоюсь, немного посижу и поедем.

Отец знал о моих переживаниях. Я никому об этом не рассказывал, но он видел, как я напрягался, как менялось мое лицо, в тот момент, когда он или мать брали меня на руки.

Летнее время отец всегда переносил тяжело. У него был псориаз. Это заболевание он приобрел во время одного из загранплаваний. По его рассказам, их корабль попал под радиоактивное облако, в то время, когда они проходили неподалеку от Новой Зеландии. По кораблю объявили тревогу, все укрылись внутри, а он не успел. Облако образовалось в

результате испытания ядерного оружия на атолле Мурурoа. После того плавания, отец какое-то время провел в больнице. Псориаз проявился позже и всякий раз обострялся в моменты, когда он начинал нервничать. С назначением на должность директора рыбокомбината, отец нервничал постоянно.

Красные шелушащиеся пятна шли по всему телу, чистым оставалось только лицо. В момент обострения они сильно чесались, стягивали кожу. По причине заболевания, отцу приходилось носить рубашку с длинными рукавами даже в летнее время. Никто на рыбзаводе не знал о его болезни, а он очень стеснялся. Пятна выглядели страшно и, хотя заболевание это не заразное, впечатление складывалось отталкивающее. Каждый вечер, вернувшись с работы, он шел в душ, а потом долго сидел в кресле, расковыривая свои пятна, часто до крови. Кусочки отшелушившейся кожи валялись потом по всему полу, и мать за это постоянно ругала отца. Только он не мог иначе. Болезнь протекала мучительно. Отец пытался лечиться у разных специалистов, но ничего не помогало. Мать где-то нашла рецепт мази, которая приносила ему облегчение. Снадобье делалось дома, из компонентов, которые пахли очень неприятно. И только вечером, после того как отец намазывался своим пахучим лекарством, можно было видеть его расслабившимся, отдыхающим от изматывающего зуда.

Немного посидев в кресле и поколупав свои болячки, отец начал собираться. Он выглянул в окно на кухне.

— Что они здесь сидят? — в голосе его слышалось раздражение. Я только сейчас понял, отец не просто отдыхал, после работы, он ждал, когда уйдут соседки. Время подходило к девяти вечера, а они все сидели у подъезда и расходиться, судя по оживленной беседе, не собирались. А нам нужно ехать за город.

Отец прошел в спальню, окна которой выходили на другую улицу. Здесь никого не было. Он вытащил противокомариную сетку, открыл окно и выставил на улицу стул.

— Давай, сынок! — он приблизился и взял меня на руки. Когда меня брал отец, я не сильно боялся. Руки у него сильные, и брал он всегда очень осторожно. Подняв, он понес меня, но не к двери, а к окну в спальне. Положил на подоконник.

— Лежи осторожно. Я сейчас подгоню сюда машину. Там эти сидят. Я не хочу, чтобы они видели.

'Этими' были те самые тети, обсуждающие всех и вся. Я вдруг догадался и с какой-то щемящей остротой осознал — моему отцу стыдно, что у него такой сын. И еще, я понял, что стыдно не только ему, но и моей маме. Именно об этом они говорили утром на кухне. Об этом. Это открытие тогда потрясло меня. Я вдруг

ощутил, как мучительно жжет клеймо неполноценности, только что поставленное мне самым главным человеком — отцом, который, опасаясь подлых соседских языков, предпочел тащить меня по-воровски, через окно, чтобы никто не увидел его позор и унижение — его больного сына.

* * *

Я лежал, боясь пошевелиться, испытывая незнакомую еще боль. Я ничего не сломал, болело где-то очень глубоко внутри. Я понимал, что для родных я стал не просто обузой, я стал обузой, которую надо тщательно скрывать от окружающих. Я замечал, когда к нам приходили гости, меня старались не показывать, держали их подальше от той комнаты, где я прятался. Но никогда до этого я не осознавал так остро, что они, самые близкие мне люди, стыдятся меня, моей болезни.

Отец появился под окном, минуты через три, встал на стул и осторожно снял меня с подоконника. Спустя некоторое время я уже лежал на заднем сиденье. А спустя еще немного, мы ехали за город, в наш дачный домик.

Мать встречала нас у ворот участка. Участок был небольшой. Уже почти стемнело, но в жидком свете электрических ламп я успел разглядеть ряды виноградных лоз, ползущих вверх по струнам проволоки, натянутым на вбитые в землю деревянные жерди, До этого я никогда не видел, как растет виноград. Да и на природу попал впервые. Перед домиком застыли кусты роз, а позади — располагался огород. Росли здесь и плодовые деревья. Мать в начале осени всегда делала запасы на зиму, консервировала помидоры и огурцы, варила варенья. Все у нее получалось очень вкусным, только я, постоянно проживая в санатории, исключительно редко пробовал эту вкусноту.

Почти весь июнь и одну неделю июля прожил я тогда с семьей на даче. Первые четыре или пять дней мать выносила меня по утрам из домика и укладывала на раскладушку, под небольшим навесом. Навес создавал хорошую тень от солнца, правда, даже в тени тогда температура достигала тридцати восьми градусов. Ночью она переносила меня в домик и я спал на полу. В этой же комнате на одной кровати спали родители и сестренка. С наступлением ночи прохладнее не становилось. Ночью работал вентилятор. Засыпали все тяжело. Ночи для меня были пыткой.

В первый же выходной день мать решила искупать меня в небольшом, узком корыте. Когда опускала в него, хрустнула

ключица. Перелом. Я поморщился, но матери ничего не сказал. Она сама поняла — что-то случилось. Закончив мытье, позвала отца, чтобы тот помог меня вытащить. Боль в ключице была сильной, да и я напрягся в тот момент, когда отец взял меня на руки. Результат — еще один перелом. Точнее, два. Сломаны рука и нога. Нога сломалась когда я выпустил ее из сломавшейся руки. Ничего особенного, обычная моя жизнь: пришлось отказаться от ежедневных прогулок на раскладушке и оставшуюся часть дачного отдыха проводить в душной комнате, где единственным спасением от жары был тарахтящий вентилятор, который теперь крутился и днем, а купание заменить обтиранием мокрым полотенцем.

* * *

Находясь на даче, я иногда видел чистое небо. Я смотрел на него и думал, думал, думал. Я разглядывал плывущие облака. Мне хотелось улететь вместе с ними. Улететь от всего. И от отца с матерью тоже. А может быть, в первую очередь, мне хотелось улететь от них. И в то же время я понимал — они единственные на свете люди, с которыми я еще чем-то связан, кровью, привязанностью, привычкой. Кому я нужен кроме родных, для которых я давно постыдная обуза, но все-таки не чужая обуза, своя?

Возвращение с дачи состоялось тоже ночью, на этот раз отец вносил меня через дверь. На скамейке перед домом никого уже не было.

Точно также, ночью, он отвез меня к бабушке, когда, через неделю, после дачи, мать и сестренка уехали на месяц отдыхать в Трускавец. Отец работал и я его обременял. До возвращения матери меня повесили на бабушку.

Мамины нервы

Меня отправили домой только на лето, на время капитального ремонта. Приближалась осень и дед, как и всегда, надев свои ордена и медали, поехал к главному врачу санатория, чтобы узнать, когда можно привезти внука. Мне необходимо закончить учебу, да и мать, уже начала выражать недовольство, что ей приходится ухаживать за мной. Однако, никто в санаторий брать меня не хотел.

Я чувствовал, что здорово мешаю своим близким, особенно матери. Многого, в ее отношении ко мне, я тогда не понимал, но хорошо понимаю теперь.

Когда наступало время купания, мать опускала меня в ванну, открывала горячую воду и уходила. Вода лилась, вот уже ванна заполнена больше половины, становится горячее и горячее, мне не хочется шевелить ни рукой, ни ногой, потому что при шевелении чувствуется сильное жжение в том месте, где уже привыкшая к воде часть тела соприкасается с другим более горячим потоком. Тяжело дышать из-за пара, который заполняет все вокруг. Но самое страшное, вода продолжает прибывать, и вот я уже в положении, когда над водой только лицо.

Я долго терплю, стараюсь дождаться, когда мать сама вспомнит обо мне и придет, но ее все нет. Я не хочу кричать, звать ее, потому что она дала мне кличку 'паникер'. После злосчастного 'лечения' в Саратове мама все время называет меня так, когда подходит чтобы перенести и видит, как я напрягаюсь. Мне кажется, я этого не делаю, но в такие мгновения мое тело, начинает жить независимо от меня. Вода продолжает набираться.

— Мама, мама!!! — я не выдерживаю и кричу, но мать перед уходом закрыла дверь. Кроме того ванная комната наполнена шумом льющейся из крана воды. Наконец, мать появляется. Она входит как раз в тот момент, когда дышать из-за пара становится невыносимо, а над водой остается только нос и я, с большим трудом, удерживаю голову на поверхности.

Мать выключает воду, помогает помыть голову и тело. После этого, уходит, оставляя меня 'поплавать'. Я лежу и некоторое время стараюсь не шевелиться. Кожа понемногу привыкает к температуре. Теперь, очень недолго, я получаю удовольствие. В воде мое тело теряет вес, я могу двигать и руками, и ногами, совершать движения, которые мне не доступны в обычной обстановке, на суше.

Минут через двадцать появляется мать и вытаскивает пробку. Дождавшись слива воды, она включает душ и я чувствую как в

ванну начинает литься холодная, почти ледяная жидкость. Мать быстро, окатывает меня этой водой. Когда холодная влага касается груди, дыхание у меня перехватывает и теперь нужно время чтобы его восстановить.

— Мама, вода холодная, — говорю я срывающимся голосом и понимаю, она и так хорошо это знает.

— На, ополаскивайся, — мать протягивает мне душ.

Я стараюсь не дать ледяным струям снова коснуться груди. Стараюсь направить их за ноги, стараюсь, чтобы вода вообще не попадала на тело. Я никак не могу восстановить дыхание, начинается дрожь во всем теле. Зубы стучат, мышцы сводит судорога.

Время тянется неимоверно долго. Минут через десять появляется мать. Она выключает воду, вытаскивает меня из ванной, переносит в спальню и укладывает на полотенце, расстеленное на полу, прямо под открытым окном. Рядом со мной она бросает трусы и майку.

— Одевайся, — говорит она и уходит. Я все еще стучу зубами. Наконец, мне удается немного унять дрожь в теле. Я одеваюсь.

Одна и та же процедура купания продолжалась из раза в раз, на протяжении всего времени, пока я находился дома. Тяжелее всего приходилось зимой, потому что, несмотря на минусовую температуру снаружи, мать все равно, вытаскивая меня из ванны, пристраивала голого и мокрого на полу перед открытой форточкой. Очень долгое время, после этих процедур, мне не удавалось придти в себя и перестать стучать зубами.

Тогда я не понимал, почему все происходило именно так. А вот матери было хорошо известно — воспаление легких может стать для меня последним заболеванием в жизни. Не трудно догадаться, что было у нее на уме, чего она добивалась, но в результате ее усилий я не только не загнулся, а практически перестал болеть и бояться сквозняков. Впервые я серьезно заболел спустя много лет, да и это была, так называемая, 'больничная инфекция'.

* * *

Как-то раз, сестренка Таня подошла и неожиданно ударила меня по лицу, по щеке. Внимательно посмотрела в мои глаза и ударила еще раз.

— Таня, за что? Что я тебе сделал? — было не больно, силы у девятилетней девочки немного, но от ее ударов у меня остановилось сердце. Сестренка увидела на моих глазах слезы,

повернулась и вышла из комнаты.

— Ну, как он там? — это был голос матери.

— Плачет, — ответила сестренка.

Я не плакал. Я захлебывался.

* * *

Полгода дед обивал пороги кабинетов всяких начальников областного и городского здравоохранения. После таких посещений, он всегда приходил к нам, докладывать о результатах. Наконец, уже в конце марта, дед принес долгожданное: 'Антон, на следующей неделе ты едешь в санаторий'. Голос у него был радостный — мать уже измучила старика упреками, дескать, не может сделать 'простой вещи', устроить внука в санаторий, чтобы доучиться.

Я сам не ожидал, что так несказанно обрадуюсь его словам.

Я еду домой!

Я еду домой из 'дома'!!

Домой!!!

Я вернулся в санаторий, где меня все помнили, все знали. Вместо трех месяцев, как это предполагалось вначале, я пробыл у родителей десять. Пропустил год, во второй раз стал учиться в седьмом классе. И очень об этом жалел.

Время, проведенное дома, в семье, вылетело из памяти почти полностью, как будто этого года в моей жизни не было. Память, как правило, стирает все, о чем мучительно вспоминать. Это хорошо. Иначе жизнь становится кошмаром.

* * *

Самым большим моим желанием тогда было желание иметь семью. Настоящих родных и близких. Та мечта живет во мне и сейчас. Однако, Бог вместо этого посылал и продолжает посылать мне друзей, которые заполняют образовавшуюся пустоту, благодаря которым я живу и ощущаю полноту жизни, которых я даже на расстоянии чувствую родными и близкими. Чувства эти намного шире и светлее, чем мои чувства к официальным родственникам. Но, как это ни странно, их я тоже продолжаю любить, не смотря ни на что.

Выпускной бал

И был последний день.

Все двенадцать лет вместились в эти несколько часов. Двенадцать лет, с детскими радостями, переживаниями и проблемами. С надеждой, что когда-нибудь смогу ходить, в самом начале и с пониманием, что этого никогда не случится, с реальностью полной неподвижности в конце. Со сменяющимися вокруг меня, такими же, как я, детьми. Многие лежали годами, некоторые на лето уезжали домой и вновь возвращались осенью. В отличие от меня, все они были любимы, имели семьи, мам и пап, родственников, которые их посещали. Посещали даже тех, кто приехал из далеких сел и деревень. Хоть и не очень часто к ним приезжали, дети были уверены — к ним обязательно приедут. В отличие от них я знал, что мама, папа и сестренка живут рядом, но мои ожидания всегда оставались напрасными.

Чувство стыда, это то, что переживал я все эти годы. Мне было стыдно, если кто-то подходил ко мне и протягивал яблоко или конфету. Мне было стыдно, когда кто-то из пришедших родственников, просил своего ребенка передать мне какое-нибудь лакомство. Они приходили не ко мне, но, каким-то чутьем угадывали, что я — брошенный — и пытались, в меру сил, согревать и утешать меня, как оставленного на улице котенка. Чужие родители делились приготовленными для своего любимого ребенка угощениями со мной — маленьким инвалидом, никем не любимым и полузабытым. Я радовался гостинцам и страдал одновременно. Мне было стыдно. Это был стыд нелюбимого существа перед согретыми родительским вниманием товарищами. Стыд нищего перед богатыми, плохого — перед хорошими. Ко мне не приходят, значит меня не любят, значит я плохой. А если я плохой, то ко мне и не будут приходить. Вот только как стать хорошим, милым родительскому сердцу с моим заболеванием? С первых дней пребывания в санатории, поселилось во мне, совсем недетское ощущение одиночества, униженности и ненужности никому. Тоска по дому и постоянное ожидание, что кто-то из моих родных вспомнит обо мне и придет жили во мне на протяжении всех двенадцати лет. А родительскую ласку мне старались дарить совершенно посторонние люди.

После памятного урока в Саратове я никогда ничего не просил, хотя, очень хотелось мне яблок, конфет, печенья — да мало ли чего хочется ребенку? Мое 'санаторное' детство явилось причиной того, что с тех пор я не люблю яблок, конфет,

шоколада. У меня этого не было и значит я не люблю. Это все мне просто 'никогда не нравилось'. И с тех пор, для меня стало естественным — если мне что-то недоступно, значит — я этого просто не хочу.

* * *

Я проснулся очень рано. Проснулся, как будто от удара — это мой последний день в санатории. Я прожил тут двенадцать лет, встретил совершеннолетие и вдруг — последний день.

Сегодня ожидалась праздничная линейка — тех, кто заканчивал школу должны торжественно провожать. И хотя за год, я намозолил глаза всем, до кого доехал, в том смысле, что меня видели очень многие, все равно, я не смог перебороть стеснения и предстать в шеренге выпускников на своей нелепой коляске. Мне тогда было не по силам долго выдерживать настороженно-брезгливые взгляды незнакомых людей.

Мы с Сергеем наблюдали за происходящим, скрываясь за углом здания школы, оставаясь невидимыми для любопытствующих глаз. Все выпускники, нарядно одетые, выстроились на площадке за школой. Завуч и главврач сказали добрые напутственные речи, пожелали выпускникам здоровья и 'упехов на жизненном поприще'. Почему-то нелепое 'поприще' гвоздем засело в моей памяти. Наконец, прозвенел последний звонок. Я смотрел из-за угла на одноклассников, и на глаза накатывались слезы. Мне хотелось плакать, все двенадцать лет оказались спресованными в грустных всхлипах бронзового колокольчика. Завтра уже начнется новая жизнь. Санаторий закрывал передо мной двери. А дом? Откроет ли свои? Я рвался домой, и в то же время очень боялся этого. Линейка закончилась. А с ней и моя школьная жизнь.

Мы попрощались с Сергеем — за ним приехал отец. За мной приезжать никто не собирался, но родных предупредили заранее. Главврач специально заказал машину. Оставлять меня в санатории даже на один час никто не хотел. Все, что можно для меня сделать, врачи и педагоги сделали. Если б не последний класс, меня выписали бы раньше. Мои вещи мне помогли собрать дня за три. Да и вещей-то, было немного. Все, что скопилось за эти годы, и чем я очень дорожил — подаренные книги.

Машина подъехала к подъезду, близко подходить к которому я так панически боялся во время своих памятных прогулок. Шофер вышел чтобы позвонить в дверь. Пока мы ехали, он всю дорогу шутил, что вот сейчас мы приедем, а дома никого не

будет. Тогда он отвезет меня назад. Он шутил, а мне было не до его шуток. Я понимал, что и так может случиться. А где-то глубоко внутри, теплилась глупая надежда, может быть мне, еще один день, удастся переночевать в санатории, который я воспринимал для себя как защиту. Защиту от встречи с родными.

На пути в институт

Ни от кого помощи я получить не мог. У меня не было ни знакомых, ни, тем более, родственников, имеющих отношение к институту. Более того, решившись поступать я оставался, вообще, один на один с теми проблемами, которые возникали и могли возникнуть. В этом меня еще раз убедил разговор с отцом. Он состоялся незадолго до того, как в нашей семье случилась беда. Как-то, вечером, когда отец сидел после душа в своем любимом кресле и мазал воспалившиеся от псориаза места на теле, он стал рассказывать о своей жизни, как учился, как тяжело им было жить, потому что они с сестрой рано потеряли отца из-за чего им пришлось совмещать учебу с работой. Как, несмотря на все это, он смог получить два высших образования, стал директором. Без всяких связей и протекций. Он рассказывал, как они с матерью очень ждали моего рождения, и как он радовался, когда, там, в плавании, на китобойном корабле в Арктике, он получил телеграмму с долгожданной новостью. И как он мечтал, что вместе с сыном будет ездить на рыбалку, на охоту. И все это, пока он не узнал, что сын болен.

Он говорил и говорил, давая мне понять, своим рассказом, насколько я его разочаровал. Сколько его надежд я разрушил своей болезнью. Родиться-то я родился, да вот что толку? Ни на охоту, ни на рыбалку со мной сходить он не может. Да что там охота — соседям показать меня стыдно.

— Так что сынок, пенсию назначили, больше тебе ничего и не нужно, — я понял, что его монолог приближается к концу и поторопился вставить. — Я уже говорил тебе, что в институт хочу поступать, в педагогический.

— Зачем тебе это нужно? Чего тебе не хватает? — отец посмотрел на меня не с удивлением, а с каким-то непониманием.

— Я не могу просто так жить, — я говорил, а сам понимал, звучит как-то ненатурально, пафосно. Но, у меня в тот момент не было других слов.

— Ну, что ты можешь сделать? Ты что, думаешь, это кому-нибудь нужно? — отец говорил, и я слышал в его голосе насмешливое удивление.

Он немного помолчал и, подводя черту нашей беседе, устало сказал: 'Ну, что же, давай, пробуй. Но, учти, никаких проблем бабушке не создавай. Она и так больна, я не хочу, чтобы ты еще ее нагружал. Твоими делами она заниматься не будет. То, что она бегала по кабинетам с этой твоей пенсией, это ей и так добавило расстройств. Она за тобой ухаживает, это все, что она тебе может

дать'.

Отец отвернулся, и встав с кресла, подошел к телевизору, намереваясь прибавить звук. Я понял, что разговор окончен.

— Не буду. Я все понимаю, — в тот момент я очень пожалел, что вообще начал говорить.

* * *

Пришло время действовать. Один год я уже потерял. Выписываясь из санатория, я планировал сразу же пытаться поступать в институт, однако, суд и последующие попытки помочь неправедно осужденному отцу вынудили отложить задуманное. К тому же, обитаясь в санатории, я безнадежно оторвался от реальной жизни и даже не предполагал, что отсутствие телефона может стать практически непреодолимым препятствием. Теперь, благодаря деду, телефон у меня был.

В газете я нашел объявление, что приемная комиссия начинает работу. Все желающие должны были сдать документы с 15 по 31 апреля. Экзамены начнутся первого июня. Времени у меня оставалось совсем мало, литературы для подготовки к экзаменам не было вообще.

Первое, что я сделал, нашел номер телефона ректора пединститута, Валерия Александровича Пятина и намерился позвонить ему. Я решил начинать с самого верха, поскольку там и находятся люди, от которых что-то зависит. Ректору я пытался дозвониться в течении двух или трех дней. То, я попадал в момент, когда его не было в кабинете, то когда звонил, у него шло совещание. Существовала еще одна проблема, но это была исключительно моя проблема. В то время я очень боялся начать говорить. Пролежав двенадцать лет в санатории, я не имел элементарного опыта общения с людьми. Собираясь звонить, сначала я пытался проговорить про себя, или, если был один, проговаривал вслух, то, что хотел сказать. Но, даже после этого, я несколько раз набирал номер, слушал гудки, и как только раздавался голос секретаря, нажимал на 'отбой'.

Наконец, все сошлось. Секретарь переключила меня на ректора, он был в своем кабинете, я не нажал на 'отбой' и услышал 'слушаю', сказанное густым объемным голосом.

— Здравствуйте! Я бы хотел поступить в институт, — изнутри меня била мелкая дрожь, меня бросало в жар.

— Нет проблем, сдавайте документы в приемную комиссию и поступайте, — голос был уверенным и постепенно я начал успокаиваться.

— Проблемы есть. Дело в том, что я не могу ходить. И живу я с бабушкой, она больна. Помогать она мне не сможет, — во мне вновь появилась неуверенность. Мне показалось, что он меня сейчас не поймет. Не поймет, какая помощь и в чем мне нужна. В чем бабушка мне помочь не сможет.

— Хорошо, я пришлю к Вам кого-нибудь, — ректор меня понял. Попросил продиктовать ему номер моего телефона и адрес.

— Спасибо! — сказал я в трубку, в которой уже звучали короткие гудки.

На следующий день раздался звонок. Говорил очень приятный женский голос.

— Здравствуйте! Меня зовут Крылова Люба. Ректор попросил меня помочь Вам с поступлением. Что Вам нужно?

— Здравствуйте:

Я уже долгое время не разговаривал ни с кем, кроме своих родных, поэтому, чувствовал себя очень неуверенно. Особенно, после такого вопроса. Потому что не знал что вообще необходимо для поступления в институт. Мы договорились, встретиться и все подробно обсудить.

И тут выяснилось, что проблемы у меня возникают, из ниоткуда. Когда о встрече с Любой я рассказал бабушке, оказалось, она в это время уходит по своим делам. Ждать, пока придет Люба, бабушка не хотела, а когда я попытался ее уговорить, начался скандал. Доступ к моему телу стал камнем преткновения. Пришлось перезванивать Любе и назначать встречу на следующий день. Перед этим я узнал у бабушки, какие у нее планы на означенное время. Планов не предполагалось.

* * *

Бабушка могла бы уйти и не запирать замок. Дверь была с маленьким секретом — кто знал, просто поворачивал ручку и входил. Когда кто-то приходящий звонил в дверь, обычно я кричал: 'Кто там? — и если знал пришедшего, то кричал, чтобы повернули ручку и входили. Иногда 'поверните ручку' я кричал сразу, едва заслышав звонок. Этого бабушка и боялась. Квартира наша находилась недалеко от железнодорожного вокзала. Очень часто к нам наведывались с различными просьбами нищие, цыгане, пьяницы. Бабушка панически боялась, что нас обворуют.

Самое смешное заключалось в том, что брать у нас было нечего. Когда отцу вынесли приговор, мать вывезла практически все из квартиры, все вещи. Вывезла, хотя имущество было

описано. Я спросил ее, а что нам делать, если придут судебные исполнители и спросят, где вещи, ответом было — 'скажи что ты не знаешь'. Когда судебные исполнители, наконец, появились, то не найдя описанных вещей, они без дальнейших разговоров уехали. Уехали и больше не возвращались.

Теперь, в квартире не было почти ничего, кроме старенькой кровати и очень древнего комода. Бабушка привезла их из своей каморки. У нас не было даже телевизора. Телевизор для меня оставался единственным окном в мир. Бабушка понимала это и мы, на наши с ней очень скромные деньги, состоящие из двух пенсий, моей и ее, несколько месяцев, брали телевизор напрокат.

Две квартиры, трехкомнатную, в которой жили теперь только мы с бабушкой и однокомнатную бабушкину, было решено обменять на двухкомнатную. Если удастся, то с доплатой. Мы дали объявление в газету, и, кроме того, бабушка теперь каждую неделю, в среду и в пятницу, ходила в бюро обмена. Где-то она узнала, что через бюро можно найти более выгодный вариант. Теперь моя эпопея с институтом напрямую зависела от бабушки, норовившей уйти из дома в самые неподходящие моменты. Иногда с большим трудом мне удавалось уговорить ее остаться, до прихода Любы. Я очень боялся, что момент вступительных экзаменов может пересечься с каким-нибудь важным бабушкиным делом. Потому что, день и час вступительных экзаменов от меня никак не зависели. Я не мог перенести час 'икс' на день 'игрек'. В общем, несмотря на то, что очень этого не хотел, я все же создавал бабушке проблемы. Она и так была слишком нервная — в то время, все ее мысли были об отце, который нуждался в ней больше меня. Между нами, часто, стали возникать ссоры.

* * *

Люба Крылова появилась в назначенный день. Это была среднего роста девушка, с приятным, русским лицом. Возможно, 'русскость' ей придавала длинная, ниже пояса, тяжелая русая коса. Люба была первым человеком из внешнего мира, которого я увидел за очень долгий период времени. В ее следующий приход она принесла мне учебники и возможные варианты экзаменационных вопросов. Потом Люба стала приходить каждую неделю. Она серьезно и очень ответственно помогала мне готовиться, а во время 'перемен' мы говорили о жизни. Так продолжалось вплоть до вступительных экзаменов.

Они были первыми в моей жизни. Я здорово переживал. Так получилось, что в санатории экзаменов мы не сдавали. В восьмом

и десятом классах, на педсоветах было решено выставить нам годовые оценки и этим ограничиться. Решения объясняли тем, что среди нас могли находиться дети со слабым сердцем, поэтому врачи не хотели подвергать нас этому очень нервному испытанию. Не знаю, почему таким было решение педсовета и не ведаю, кто из нас имел 'слабое сердце', только подобные постановления выносились два раза именно тогда, когда среди сдающих экзамены был я. В остальные годы выпускные экзамены проходили без каких-то проблем.

Самым трудным мне представлялся письменный экзамен, Я должен был написать сочинение за определенный промежуток времени. Я не боялся за грамотность. Причина переживаний заключалась в другом: к началу вступительных экзаменов моя правая рука, которой я в то время только и мог писать, была сломана в двух местах. Я, однако, об этом никому не говорил, да, в общем, никого мои проблемы и не касались. Я понимал, что никаких скидок на состояние моего здоровья мне никто делать не станет. За сдачу устных экзаменов я не волновался.

К первому июня, во многом благодаря Любе, я основательно подготовился к битве за институт. Со стороны бабушки проблем тоже не предвиделось. Дни экзаменов были известны заранее и у нее на это время, никаких дел не намечалось.

Новоселье

Трехкомнатная квартира, в которой мы жили до ареста отца, матери стала не нужна. Для нас с бабушкой жилплощадь оказалась велика. После того, как мать увезла из нее почти все вещи и мебель, квартира стояла полупустая. Мама хотела ее продать, но из-за меня дала согласие на обмен. Бабушка, в течение восьми месяцев пыталась обменять эту и свою каморку на одну двухкомнатную квартиру.

Во-первых, она искала такой вариант, при котором, в новой квартире не нужно было делать никакого ремонта. Для нас это являлось основным условием. У нас не было ни денег на ремонт, ни доброго человека, способного этот ремонт осуществить почти задаром.

Во-вторых, мы хотели, чтобы в нашей будущей квартире, обязательно стоял телефон. Это являлось условием, на котором настаивал я. Бабушка считала, что телефон — роскошь. Сколько же скандалов возникало у нас с ней, когда она готова была согласиться на обмен без телефона?! Сколько криков?! Только случай с вызовом «скорой помощи» смог убедить ее что телефон, в нашей с ней ситуации — жизненная необходимость.

В-третьих, она боялась остаться совсем без квартиры, потому что такое с ней уже случалось — она опасалась повторения. И

бабушка думала тогда, прежде всего, об отце, о том, где он станет жить, когда выйдет на свободу. Как я сейчас понимаю, это было самым важным для нее. С матерью они договорились, что если обмен произойдет с доплатой, то деньги они разделят поровну, а квартира, которая получится в результате обмена, будет оформлена на бабушку. Она и станет ответственным квартиросъемщиком.

Я видел, между матерью и бабушкой шла борьба, чувствовал, как женщины боятся, что одна из них в истории с разменом квартиры окажется обманутой. Доверия в семье не было. Иногда, мать и бабушка не общались между собой месяцами. Да и между матерью и ее отцом — моим дедом Андреем Аврамовичем, тоже возникали такие серьезные ссоры, что лучше и не вспоминать. Я, в санатории, в своих мечтах представлял семью, где царит любовь и доверие. А в реальности… В реальности я видел то, что было в нашей семье. Я хотел со всеми поддерживать хорошие отношения, а оказывалось, для того, чтобы поддерживать отношения с матерью, нужно было ей показывать, что я не очень хорошо отношусь к бабушке. Как я жалею сейчас, что поддакивал и сочувственно кивал, слушая мамины злые воспоминания об обидах, нанесенных ей бабушкой в далеком-далеком прошлом, малодушно соглашался с утверждениями типа «не повезло нам с родственницей». Самым подлым с моей стороны было то, что я продолжал при этом жить с бабушкой, и она единственная ухаживала за мной.

Впрочем, когда мать уезжала начиналось то же самое. Только уже недобро о матери говорила бабушка и, также, вспоминались прошлые обиды, а я, снова — поддакивал, и соглашался, и кивал. Я хотел быть хорошим со всеми, а выходило, что предавал. До сих пор все это лежит на сердце тяжелым грузом. Понимаю, что ничего уже не исправить. От этого еще тяжелее становится. Я хотел, очень хотел иметь семью, жить в семье. Хотя, уже тогда понимал, что никому в семье я не нужен. Понимал, однако, все же пытался выстраивать какие-то отношения между мной и бабушкой, мной и матерью, мной и сестренкой. Меня очень пугало само название «дом инвалидов». Пугало, почти, до смерти. Я боялся попасть в это место. Боялся. Если бы человек имел возможность видеть свое будущее?! Впрочем, лучше не надо.

* * *

Непрерывные переживания, связанные с отцом, хлопоты по обмену квартиры, собственные болезни все это медленно, но

верно убивало бабулю. А тут еще я добавлял ей хлопот.

Постоянные стрессы и то, что происходило с руками, сильно отразилось на моем характере, во мне появилась озлобленность. Понимание, что я напрасно родился и непонятно зачем живу, вызывало приступы злобного раздражения всем, что меня окружало. В первую очередь я озлобился на самого себя: шальная мысль о самоубийстве, невзначай залетевшая в мою скорбную голову, как-то незаметно стала привычной. Я думал о самоубийстве, иногда, часами, рисуя в мозгу сопутствующие картинки и приходя в отчаяние от сознания что моя смерть вызовет у родных только вздох облегчения. В озлобленности, я стал говорить об этом бабушке, чем, конечно же, расстраивал ее. Тогда же, понемногу я начал курить. «Буду медленно себя убивать», — думал я. Хотя, бабушке сказал совсем другое.

Бабушка курила. Она курила всю жизнь. Несколько раз пыталась бросить, особенно в те периоды, когда лежала в больнице после инфарктов и сильных сердечных приступов. Закурив, я ей сказал: «Вот когда ты бросишь, тогда и я». Она не бросила, но и я серьезно курить не начал — побаловался примерно с месяц и прекратил. Ничего привлекательного в процессе вдыхания дыма я не нашел и не понимал, зачем бабушка курит, и при этом все время хватается за сердце. Это часто служило толчком к нашим с ней ссорам. Я ее просил не курить, она мне: «Ты не имеешь права мне приказывать».

Часто, между нами начинался спор из-за ее веры в Бога. Вера ее, на мой взгляд, была более чем странная. Я не понимал, такой веры. В Бога я тогда не только не верил, бабушке я демонстрировал самый ярый атеизм.

Как я мог верить в Бога? В Бога, который, по словам бабушки, «все это сотворил и всем руководит, всеми делами». За что же тогда со мной Он так? А с ней? Я смеялся над бабушкиной верой. Мне было непонятно: как можно молиться по написанным на бумажке молитвам; как можно считать святой доску, с нарисованным на ней лицом — икону, которая висела у бабушки в комнате; как можно молиться молитвой, слов в которой нельзя понять? Меня, тогда, раздражала ее непонятная вера, основанная непонятно на чем, замешанная, как мне казалось, на элементарном суеверии. Бабушка приносила, написанные кем-то, на листке бумаги, молитвы. Прятала эти листочки в одежду, когда отправлялась к отцу на свидание, «чтобы эта молитва охраняла». Я постоянно задавал ей вопросы, заранее зная, что она на них ответа не имеет. Понимал, что делаю ей больно, но все равно делал. Моя озлобленность ослепляла меня. Может быть, потому что бабушкино поведение часто направлялось

малообъяснимыми для меня предрассудками?

— Антон, я ухожу, — как-то сказала мне бабушка. Мне не нужно было этого говорить. Она начинала одеваться, и я без ее слов, видел, что она скоро уйдет.

— Куда, бабуля?

Вопрос был абсолютно невинный и, на мой взгляд, вполне естественный. В нем заключался не праздный интерес. Если бабушка уходила надолго, требовалось заранее попросить подать все, что мне могло понадобиться за время ее отсутствия: чашку с водой, предметы для туалета…

— Надо спрашивать не «куда?», а «далёко?» — ответила она, вдруг, со злостью в голосе. — А теперь ты мне всю дорогу «закудыкал!»

Она села и никуда уже не пошла. И весь день, после этого, со мной не разговаривала. Конечно же, во всем был виноват я. Сорвал своим неправильным вопросом все ее планы.

Это только один пример того, как она относилась, даже к таким мелочам. Я, откровенно, этого не понимал. И почему-то, связывал ее суеверное поведение с православной верой. Разницы, тогда, я никакой не видел.

* * *

Наконец, бабушке удалось найти вариант обмена, устраивающий всех. Обмен был какой-то тройной или даже четверной, то есть, в этом обмене участвовало не две стороны, а больше. Я не вникал в тонкости. Помню только, мы переехали в дом находящийся, практически, в том же районе где мы жили. И люди, уехавшие из той квартиры, оставили нам свой старенький телевизор. Телевизор был черно-белый, но с большим экраном. Я наслаждался. Почти год прошел с того момента, когда я в последний раз смотрел телепередачи. Кроме телевизора съехавшие жильцы оставили нам свой кондиционер. Он был врезан в окно и они не стали его вынимать. Иначе, нам пришлось бы менять раму и створки. Думаю, эти люди вошли тогда в наше положение. Я им был очень благодарен и тогда, и сейчас. Первый раз в жизни я жил в квартире с кондиционером. Только тот кто, хотя бы однажды, парился летом в астраханской жаре, может понять, о чем я говорю.

Переезд будто бы отнял у бабушки последние силы. Приступы участились. Почти каждый день теперь я звонил «03». Принимающие звонки диспетчеры уже меня знали. Как только я произносил: «Борисова Елена Антоновна», — мне тут же

отвечали: «Высылаем машину».

А потом приходилось ждать врачей в течение часа. Они приезжали и, все чаще и чаще, перед тем как уехать, говорили, что бабушке необходимо лечь в больницу. Во-первых, её нужно тщательно обследовать. А во-вторых, ей просто жизненно необходимо отдохнуть от всего. Бабушка молча кивала головой. Единственное, что ее удерживало от больницы, это я. Она не могла бросить на произвол судьбы беспомощного внука. Долго, однако, так продолжаться не могло.

Терпение врачей из «скорой» окончательно лопнуло в один из дней. После очередного звонка и приезда «неотложки», врачи пообещали, что, когда я вызову их в следующий раз, они заберут бабушку в больницу. Если же она не поедет с ними, то они на вызовы больше приезжать не будут. Бабушке ничего не оставалось делать, как согласиться с ними. Требовалось только решить, что делать со мной.

К счастью, накануне, я получил, долгожданный ответ из Москвы, из ЦИТО. Как я и ожидал, мне отказали. Причина отказа была в том, что наша Астраханская область относилась территориально к Саратовскому НИИ травматологии и ортопедии. Как раз к тому институту, в котором я уже лежал, когда мне было восемь, и где со мной ничего делать не стали.

Я решил попытаться попасть в эту клинику еще раз. Терять, в то время, мне было уже нечего. Но, направление в Саратовский НИИ мне могли дать только в областном отделе здравоохранения. Для этого требовалось подробное описание состояния моего здоровья. Это могли сделать только в областной больнице. У меня, наконец, появился вполне легальный предлог лечь в клинику, на то время, пока бабушка немного подлечиться. За помощью мы обратились к деду.

Не было, наверное, ни одного кабинета в облздравотделе, где не побывал Андрей Аврамович. Не найдется ни одного тамошнего начальника, которому не удалось бы рассмотреть все дедушкины ордена и медали, прежде чем он смог получить для меня направление в ортопедическое отделение Астраханской первой областной клинической больницы. Дед, если он хотел чего-то добиться, обязательно этого добивался. Он умел быть настойчивым. Так получилось, что в один и тот же день, и я, и бабушка переселились каждый в свою больницу. Бабуля могла лечиться со спокойной душой — я был под присмотром врачей.

Перед тем, как переехать в клинику, требовалось подобрать «хвосты» в институте. Напрягаясь и мучаясь от боли в сломанной руке, я с трудом сумел написать и сдать все необходимые за первый курс письменные работы и зачеты. Я ощущал себя

настоящим студентом. В принципе мне было даже легче чем всем остальным моим неизвестным собратьям по учебному процессу. Я не имел возможности предаваться соблазнам молодости и учеба была единственным для меня занятием. Если бы не боль и страх остаться без рук я бы мог сказать что был счастлив.

Люба Крылова помогла мне оформить в институте академический отпуск. Кто бы мог предвидеть, что он сильно затянется, что к учебе в институте я смогу вернуться только спустя пять лет, когда мои невидимые сокурсники уже готовились получать дипломы.

Самым популярным развлечением у нас были разговоры «за жизнь». Я в таких разговорах участия не принимал. Моя жизнь, состоявшая в основном из путешествий по больницам, была никому не интересна. Больничный быт и обстановка окружали нас со всех сторон. Разговаривать старались на «внебольничные» темы.

Было у нас еще одно «развлечение». Отделение взрослой ортопедии служило опорной базой для кафедры хирургии, астраханского медицинского института*. Это означало, что каждый день, как минимум один раз, кто-то из врачей, совмещавших преподавательскую деятельность в мединституте, заходил в нашу палату с группой студентов, чтобы практически закрепить в молодых мозгах будущих медиков вызубренные ими теоретические болезни. И тут выяснилось, что я, с моим редким заболеванием, оказывался наиболее рассматриваемым, наиболее ценным экспонатом этой ортопедической выставки.

Мой нестандартный вид никогда не оставлял окружающих равнодушными. Что делать — человека притягивает все что выбивается из рамок обыденного. И я здесь не исключение. Сколько раз наблюдал за собой как мой взгляд, помимо воли возвращался к отсутствующему зубу в челюсти или какому-нибудь другому дефекту на лице нового собеседника. На дефекты старых знакомых внимания уже не обращаешь.

В человеке, и во мне в том числе, сидит трудно объяснимая для меня тяга к неприродной эстетике. Когда я первый раз увидел аквариумных рыбок с чудовищно вытаращенными глазами — «телескопов», внутри меня что-то перевернулось. Я смотрел, и смотрел, и чувствовал как их странные выдвинутые глазные орбиты, жирные тела, судорожные движения в толще воды и отвращают меня, и притягивают одновременно. Но в какой-то момент они стали мне симпатичны, хотя и были «неправильными» рыбами. Вот только сами «телескопы», по моим наблюдениям, о своей ненормальности не думали, свой внешний вид считали совершенно естественным и жаловаться на кормежку, температурный режим и злую судьбу явно не собирались.

Так же как и эти странные рыбки, я никогда не считал себя природной аномалией. С раннего детства в моем сознании формировался и постепенно твердел, как гипсовая повязка, образ юноши — Антона Борисова — как образ совершенно нормального человека, у которого просто имеются проблемы, но они касаются

только его. Отсюда и все мои сложности во взаимоотношениях с окружающими. Я и «они», мы по-разному рассматривали и оценивали мое состояние. «Они» всегда сначала замечают болезнь и часто не пытаются увидеть за ней человека. Люди из вне, при виде моего тела прежде всего теряются. Растерянность оборачивается страхом, страх сменяется любопытством или брезгливостью, а иногда весь этот винегрет чувст неожиданно перерастает в дружбу.

Студенты, даже медики, тоже люди. Я как огромная рыбка-телескоп лежал на больничной койке и фокусировал на себе их ошарашенные взгляды. Самым диким для них было видеть что эта рыбка-телескоп живет и очень неплохо чувствует себя на суше — хотя по всем природным законам этого быть не может — да к тому же обладает не рыбьими мозгами. В последнее они верили меньше всего и требовали доказательств. Ну, а когда вас постоянно оценивают на предмет «нормальный-ненормальный» у вас может испортиться характер.

Изменить ничего я не мог, поэтому, всегда старался получить хоть какой-то эмоциональный капиталец от подобных учебных посещений. Попросту, валял дурака.

— А это Антон. У него очень редкое заболевание костей. Называется «несовершенный остеогенез», — говорит очередной экскурсовод.

Меня обступает группа из восьми молоденьких девчонок в белых халатиках.

— Как правило, при этом заболевании, повреждаются только кости.

Доцент, Анна Алексеевна, невысокая, миловидная, женщина, продолжает объяснять студенткам, стоящим вокруг, особенности моего заболевания. Меня начинает разбирать смех, потому что в глазах всех девушек-студенток я опять вижу знакомое выражение — у них начинается приступ эмоциональной изжоги.

— Антон, можно я им покажу твои ноги?

Анна Алексеевна стоит ближе всех ко мне. Она давно меня знает. Во всяком случае, я помню ее еще с того времени, когда лежал тремя этажами ниже, в детской ортопедии. Она поднимает простынь, прикрывающую мои нижние конечности, которые за ненадобностью, мой дедушка предлагал попросту ампутировать. Ужас в глазах девушек перерастает в панику.

— Антон, ты можешь нам рассказать о себе?

Экскурсовод пытается показать студентам не только мои ноги, но и то, как я ими могу двигать, потому что, в тот момент, когда она задала этот вопрос, она очень осторожно подняла мою ногу и отвела ее в сторону. Мне больно, но я пока не показываю

вида. Вместо этого я пытаюсь сделать свой взгляд как можно более тупым.

— Двадцать четыре.

— Что «двадцать четыре»? — Анна Алексеевна растерянно смотрит на меня.

Я тупо моргаю глазами и молчу.

— А он умеет читать?

— Он учился в школе? — эти два вопроса последовали почти одновременно. Меня они вполне удовлетворили. Я не хотел демонстрировать свой интеллект посторонним людям. Почему я должен развлекать незванных гостей?

Тем временем в глазах Анны Алексеевны недоумения нисколько не уменьшается.

— Он умеет читать. Я же сказала уже, что при этом заболевании повреждается только скелет. Все остальное, как правило, в полной норме, — Анна Алексеевна произносит это спокойно, но в ее голосе уже можно расслышать легкое раздражение — она начинает догадываться, что я валяю дурака.

— Хотя, — продолжает она задумчиво, — иногда могут встечаться исключения.

Все уже повернулись и готовы уходить.

— Я и считать умею…

На мгновение все вновь оборачиваются на мой голос. Некоторые смотрят заинтересованно. Я уже прикрыл ноги простынью, поэтому вместо ужаса в глазах студенток играет любопытство.

— …до ста, — прибавляю я немного громче. Во взглядах пришедших застывает недоумение. Раздаются смешки. Но это смеются мои соседи по палате.

Зачем я это делал? Из вредности. Обидно быть учебным чучелом для своих ровестников, тем более девушек. У меня поврежден только скелет, а все остальное в полном порядке — так утверждала Анна Алексеевна. Я могу подтвердить ее утверждение. Все в полном порядке, том числе и гормональная система и связанные с нею эмоции. Сокурсникам этих, рассматривающих меня девчонок, я проигрывал только формой, а содержание рыбки-телескопа с этим никак не хотело мириться. Я вежливо хамил. Обычная человеческая слабость.

Бенефис

В один из дней, к нам в палату зашла медсестра. С ней были два студента. Необычность ситуации наблюдалась в том, что они везли с собой каталку, которая является в больнице основным транспортным средством для перемещения больного на все процедуры, предписанные врачом и на операции. Но в этот раз из нашей палаты некого было забирать на операцию.

Обычно, в предшествующий операции вечер, к больному подходила медсестра и готовила пациента для операционного стола. Подготовка заключалась в обязательном выбривании мест в области разрезов а также, в двух очистительных клизмах. Клизма больному делалась в предыдущий перед операцией вечер, а также рано утром, в день операции. Я точно знал, что накануне вечером, у нас в палате никого таким процедурам не подвергали. Еще более необычно было то, что каталка остановилась рядом с моей кроватью.

— Вы Антон Борисов? — один из студентов, стоящий в «голове» каталки, уже тянул ко мне свои руки. Видимо, он не знал, как со мной обращаться, потому что уже готов был подхватить меня под плечи. В задачу второго, как я понимал, входил подхват меня под ноги. Ребята оказались неимоверно шустрыми. Я даже не успел рта раскрыть как почувствовал, что мое, уже почти поднятое в воздух плечо, хрустнуло. Перелом.

— Ай-ай! Вы что, ненормальные?

Было очень больно и обычно этой боли, кроме меня, никто не замечал. Но сейчас, я заработал прелом, в придачу к тому, что у меня уже был до прихода этих налетчиков. И теперь, мне грозило, как минимум, еще три или четыре перелома. Этого, для одного маленького меня было слишком. Я решил показать, что мне больно.

— Нам нужно переложить тебя на каталку, — заговорила медсестра. Ее голос, а также, мой вскрик, приостановили чрезмерную активность начинающих костоправов.

— Я сам передвинусь. Не нужно меня трогать.

Боль в только что сломанном плече очень затрудняла движение, но лучше было перебраться на каталку самому и сейчас, когда я еще в состоянии был это делать, при двух, пока, переломах. Опираясь, попеременно, то головой то задней частью, на которой заканчивается позвоночник, о твердую поверхность постели, я начал медленно переползать на каталку. Особенно трудно было передвигаться по мягкому матрацу кровати. Голова, все время, проваливалась. Для того, чтобы передвинуться на

мизерное расстояние, приходилось затрачивать очень много усилий. Но, твердой поверхности каталки, я все же достиг. Спустя еще минуту состоялся финиш.

— Куда вы меня везете?

Никто ничего мне не говорил и не предупреждал ни о чем. Никаких процедур мне не назначалось. О том, что меня везут на операцию, даже не возникло мысли. Без предварительной подготовки на операцию не возят.

— Нам сказали, тебя не расстраивать, — медсестра, шедшая рядом с каталкой, произнесла это очень тихо.

— И что, ты мне не можешь сказать, куда? — такая секретность была по-меньшей мере странной. Пройдет несколько минут, и я все равно буду знать, где я нахожусь.

— Понимаю! — я уставился на медсестру и очень серьезно добавил. — Вы меня похищаете? Это круто! Тогда надо завязать мне газа!

Она посмотрела на меня. Потом, видимо поняв, что я шучу, улыбнулась, но как-то ненатурально.

Мы продолжали наше движение. В этих местах я еще ни разу не бывал. Спустившись на лифте на первый этаж, мы оказались на улице. Впервые, после нескольких месяцев, проведенных внутри почти непроветриваемого помещения. Я увидел деревья, с которых уже опала листва. Декабрь, хоть и не был в тот год очень холодным, но холод я почувствовал.

Кроме трусов, на мне ничего не было. Все то время, пока я находился в больнице, я лишь прикрывался, по самую шею, простынею. Этого было достаточно для меня и удобно. Во-первых, не нужно стирать лишнее белье, да и некому это было делать. Во-вторых, так удобнее передвигаться по постели. Если на мне была надета майка, передвигаться самостоятельно становилось очень тяжело. Она постоянно тормозила мои движения. Все время, нужно было останавливаться и начинать вытягивать ее из под низа спины. Ее постоянно туда затягивало.

Я почувствовал холод. Медсестра, шедшая с правой стороны, на ходу, натянула на меня одеяло. Каталка двигалась «головой» вперед и я не видел, куда мы направлялись.

Это было больничное суеверие — «вперед ногами» здесь возили только мертвецов. Поэтому всех студентов учили, как правильно перемещать страждущих. Иногда это доставляло больным немного веселых минут. Особенно интересно выглядели ситуации, когда пациент ложился на каталку «неправильно», и, из-за этого суеверия, некоторое время, транспорт пытались безуспешно развернуть в очень узком проходе, после чего просили больного лечь «правильно».

Наконец, меня ввезли в какую-то дверь. Затем справа и слева выросли высокие стены. Было ощущение, что мы находимся в туннеле с очень высоким потолком. Спустя несколько секунд я оказался… на сцене.

Да, это была сцена, или что-то наподобие этого. Потому что справа я видел большой белый экран, а вокруг до самого верха окружающего меня полуамфитеатра, бледнели человеческие лица. Молодые лица. Девушки, парни. Мои ровесники. Все были в белых халатах и в белых медицинских шапочках. Лица находились, как бы, в полумраке. Хорошо освещена была только сцена, на которой находился я. Рядом со мной стоял Николай Петрович Демичев, профессор, подаривший мне надежду на операцию и с легкостью меня обманувший. Так вот оказывается что он «надумал» за месяцы моего ожидания. Вместо плана восстановления подвижности моих рук он придумал это шоу, в котором мне отводилась центральная роль как фактического, наглядного материала, подтверждающего профессорские умозаключения. Мало меня демонстрировали в палате мелким группам будущих врачевателей дотошные доценты. Демичев решил это сделать с профессорским размахом — максимальному количеству зрителей с соответствующей теоретической аранжировкой. Шоу продолжалось. Я был для всех говорящей рыбкой-телескопом, жутким курьезом и единственным актером поставленного профессором спектакля. Профессор нарабатывал на мне научный капитал, пользовался моим отчаянием и болью в собственных интересах в первую очередь, потому что если бы он действовал в интересах науки он бы меня прооперировал и независимо от исхода принес вполне определенную пользу этой «ученой даме»: или заспиртовал меня в качестве учебного пособия или, в случае удачного исхода, пополнил сокровищницу прикладной хирургии уникальным опытом.

Но профессор говорил не об особенностях хирургического вмешательства в мое тело, а о том, что с таким диагнозом как у меня больные долго не живут и по его рассчетам мне осталось жить год-два, не более.

Профессорское «год-два» означало что нет никакого смысла меня оперировать.

Единственное, из-за чего я терпел все предшествующие унижения, я ждал, с великой надеждой ждал, что кто-нибудь, снизойдет до меня и хотя бы попробует помочь мне, прооперирует, наконец, мои руки. Чтобы я, этими руками, мог кушать самостоятельно, самостоятельно чистить зубы, самостоятельно листать страницы книг. Чтобы я мог писать, в конце-концов и написать этими руками слова благодарности

воскресившим их врачам, а не чувствовать себя существом, живущим растительной жизнью, в которой я сам не видел абсолютно никакого смысла.

— Антон, как ты себя чувствуешь? — голос профессора был громким. Его должны были слышать даже в самом отдаленном конце этого зала.

Я промолчал, потому что ничего не хотел говорить. В этот момент на меня навалилась такая дикая усталость, как будто все дни ожидания операции, материализовались в одно мгновение и придавили меня своей бессмысленной тяжестью. Передать всю мою гамму чувств, в тот момент я не в состоянии. Пять месяцев я чего-то жду, мне при этом обещают, а в результате «год-два, не более».

Я смотрел на лица, плывущие в полумраке амфитеатра и мне хотелось кричать. Если бы уважаемый профессор хоть немного, самую капельку попробовал горечь моего отчаяния, почувствовал самую малость того, что чувствовал и переживал в тот момент я… Но в тот момент, у меня не было сил кричать. У меня ничего больше не осталось.

Если бы они только знали, как я хотел жить.

И как я ненавидел, в тот момент, свою жизнь.

В течение сорока пяти минут, пока профессор давал свое представление, я так и не произнес ни слова.

Я часто задавался вопросом почему профессор Демичев отказался меня оперировать, ведь в случае гибели пациента на операционном столе ему ничего не грозило: все было согласовано со мной и я в, случае моей смерти, претензий профессору предъявлять не собирался… И вот к какому выводу пришел. Профессор боялся. Боялся за свой авторитет. Профессор должен был одерживать победы и делать блестящие операции. Смерь пациента от его рук — это пятно на его репутацию. Зачем портить свою профессиональную биографию смертью какого-то человекообразного существа, которое даже после успешной операции не прибавит профессору славы? Зря тогда профессор струсил. Сейчас бы я его не упрекал.

Прорыв

После обеда, я начал прислушиваться к разговорам, доносящимся из коридора. Обычно, это срабатывало, и если добросовестно напрягаться, то можно было слышать все, что там происходило и быть заранее готовым. К примеру, если кого-то в нашей палате должны были оперировать, мы всегда старались уловить, когда по коридору загремит каталка или когда, там, вдали, кто-нибудь произнесет имя, ждущего операции. Сейчас я ожидал машины, которая должна отвезти меня домой.

— За Борисовым машина.

Я услышал. Я уже был готов к отъезду. Тяжело переживал лишь то, что все эти месяцы я пролежал здесь впустую.

Дома все оставалось по-прежнему. Вот только в состоянии здоровья бабушки большого изменения не произошло. Ее немного подлечили в больнице, но по утрам, как и раньше, она чувствовала сильную слабость. Все чаще и чаще, в тот момент, когда начинала что-то делать, хваталась за сердце, садилась на ближайший стул, клала в рот таблетку нитроглицерина и после этого, в течение получаса, только сидела, думая о чем-то своем, приходила в себя.

Я понимал, надолго ее не хватит и мне уже сейчас нужно решать, с кем мне придется жить дальше. О матери, как о возможном варианте, я даже и не думал. Все больше и больше самым реальным вариантом для меня становился тот, который был наиболее тяжелым — переселение в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Когда я начинал думать об этом, меня охватывал не ужас, меня охватывало состояние, похожее на умирание. В моем мозгу, в моем представлении, попасть в это место, было равносильно смерти. Всю свою жизнь, до этого момента, я и так провел в «казенных» домах. А теперь мое будущее навсегда связывалось с этим страшным местом. Лучше — смерть.

С этими мыслями я и жил, после выписки из больницы. Это было больше похоже на агонию. Нервы мои, в то время, сдавали по любому пустяку. Это, конечно же, отражалось на наших с бабушкой отношениях. Мы все чаще и чаще, начинали ни с того ни с сего, предъявлять друг другу какие-то претензии. Я ставил ей в вину то, что она уделяет мне недостаточно внимания, хотя она этого и не обязана была делать. Она тоже срывалась на меня ни с того ни с сего. Эти два или три месяца моего пребывания дома, были, возможно, самыми тяжелыми. Я уже поставил точку на своей жизни. Понимал, что ничего дальше не будет. Даже о том, что я учусь в институте, не вспоминал.

В один из таких безнадежных дней, бабушка вытащила из почтового ящика конверт из Министерства Здравоохранения СССР. Это был ответ, на мое письмо Горбачеву! В письме разъяснялось, что меня направляют на лечение в Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова, в ЦИТО! И что они ждут моего приезда на обследование 14 октября 1986 года!

Я понимал, что до Генерального Секретаря ЦК КПСС мое письмо не дошло. Но мне было достаточно и того, что кто-то, возможно в секретариате Горбачева, прочитал и переправил его в

Минздрав. А уже оттуда, я получил направление. Но это все частности. Главное другое — чудесным образом исполнилось то, о чем я просил. Не важно как, не важно кто. Важно, что, у меня, возможно, появился шанс.

На следующий день, после получения письма, раздался звонок в дверь. К нам пришел мой лечащий врач из Первой областной клинической больницы — Фарит Джафарович, которому поручили сделать описание моего состояния и написать направление, но уже в Москву, в ЦИТО. На этот раз они решили не класть меня в больницу. Как я понял, Минздрав СССР, отправил копию письма в наш областной отдел здравоохранения. Для нашего облздрава это было больше чем приказ.

До октября, до моего отъезда, оставалось еще три месяца, времени больше чем достаточно, но письмо из Минздрава оказалось таким стимулирующим, что уже через три недели, после его получения все было готово. В облздраве даже оплатили стоимость билета на поезд до Москвы для меня и моего сопровождающего. Когда же я позвонил в облздрав и сказал, что в моем состоянии мне необходим второй сопровождающий, просьба была выполнена в течение двух дней, и второй билет был куплен. Я мог ехать хоть сейчас. Вот только с кем? И как?

Эти два вопроса требовали самого пристального внимания. Ситуация была более чем странная. Я должен приехать в октябре на лечение в Москву. При этом, билеты на меня и двух сопровождающих приобретены. Но вот где я могу найти этих двух добровольцев? Кто согласится со мной поехать? С этим была полная неясность. И, непонятно, как эту проблему можно решить.

Вариантов немного. Потому что такими знакомыми я обзавестись еще не успел. Родственников тоже было столько, что пальцев одной руки для них оказывалось много. Время шло, а ни одной кандидатуры на горизонте даже не маячило. И лишь за две недели до отъезда, проблема рассосалась. Одним из моих сопровождающих вызвался быть Виктор, бабушкин знакомый. Вторым — мой дед Андрей Аврамович. Мне очень долго пришлось уговаривать его. В конце концов, дедушка согласился.

Теперь на первое место вылез другой не менее трудный вопрос — как ехать? Я помнил свою первую поездку с мамой в Саратов. Только посадка и высадка из вагона закончились для меня четырьмя переломами. Два ребра, нога и рука. Но сейчас я находился в состоянии, намного худшем, чем тринадцать лет назад. Тогда я был крепче, мама просто держала меня на руках, как держат детей. За много лет, она отлично знала как нужно обращаться со мной, но, даже это ее знание не помогло и я приехал в Саратов в меру поломанный.

Самым болезненным для меня, всегда, был внос в двери. Дверь, к примеру в нашу квартиру, очень узкая. При входе, несущему, приходится прижимать меня к себе. Без этого никак не обходилось. А в поезде и двери, и проходы намного теснее. Я рисовал в мозгу жуткую картину, как меня вносят в поезд, несут по узкому проходу, вносят в узкие, очень узкие двери купе, и меня охватывал настоящий ужас. Надо было думать как мне переместиться в пространстве из Астрахани в Москву с наименьшим потерями, иначе, в Центральный институт травматологии и ортопедии мог прибыть пациент с феноменальным количеством переломов или вообще доехать нечто уже непригодное для оказания какой-либо врачебной помощи.

Возможно, я бы обошелся минимальным числом переломов, а также, столкнулся с меньшим количеством проблем, если бы добирался до Москвы на самолете. К тому же, перелет на нем занимает меньшее время, а значит для меня, это наиболее удобный вариант в том плане, что нужно будет терпеть без туалета всего лишь пару часов, да и не только это. Но, в облздраве и билеты на поезд согласились оплатить с большими оговорками. Если бы я просил их оплатить билеты на самолет, того, кто отвечал за выделение денег, мог хватить удар. Не стоило испытывать судьбу. Следовало довольствоваться тем, что уже было в наличии.

Я напряженно обдумывал детали предстоящего путешествия. И как-то однажды в мозгу всплыли кадры из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», где санитары, несут умирающую старушку, которая остается на носилках, даже тогда, когда нерадивые медбратья повернув носилки на бок тащат их держа за ручки одной стороны. При этом хулиганы в белых халатах отпускают замечания типа: «хорошо держится, бабулька». За точность фразы не ручаюсь, однако те кадры в моем мозгу появлялись снова и снова. Они и подсказали решение.

Я попросил Виктора, чтобы он соорудил носилки, небольшие, под мой рост, в длину, это чуть больше метра, и в ширину… Ширину носилок я попросил его выяснить самостоятельно, для этого требовалось замерить размер прохода в поезде. Он специально ходил на вокзал и сделал все замеры. В моей ситуации важен был каждый сантиметр, потому что от этого зависело, сколько переломов у меня будет по окончании путешествия. Совсем без них я, само собой, обойтись не мог. Хотелось свести их к минимуму.

Итак, размеры носилок были. Настало время думать, что они должны из себя представлять. Уменьшенная копия обычных

носилок, с прогибающейся поверхностью, не годилась. Прогибающаяся поверхность могла стать причиной дополнительных переломов. Поэтому, я попросил Виктора найти где-нибудь доску, с размерами близкими к нужным. Фанера слишком тонка. Поэтому, решили остановиться на куске ДСП, древесно-стружечной плиты. Деньги на покупку ДСП я нашел, это было не очень дорого, но, как я понимал, Виктору все обошлось еще дешевле, возможно, тот кусок ДСП был взят на какой-нибудь ближайшей стройке или выпрошен у знакомого сторожа — у Виктора среди них имелись весьма обширные знакомства. Но я не стал ничего выяснять. Он и так исключительно много помогал нам, к тому же, ему нужно было кормить семью.

Итак, носилки — взятый на стройке кусок ДСП, размером сто десять сантиметров в длину и сорок три сантиметра в ширину, с прикрученными обрезками железных труб, в качестве ручек — были готовы. Я так дотошно вспоминаю носилки и процесс их изготовления потому что практически каждая мелочь, необходимая мне, или человеку в похожей на мою, ситуацию, любая мелочь, становилась большой проблемой. А еще потому, что в тот момент, когда я впервые лег на эти носилки, я и предположить не мог, что отныне они будут сопровождать меня повсюду, в течение следующих шести лет. И, что, благодаря им, этому простейшему сооружению из куска ДСП и двух железных труб, в предстоящие годы, я буду избавлен как минимум от сотни переломов. Итак, вещи собраны, носилки сделаны — все готово. Во всяком случае, я был в этом уверен.

Оставался день до отъезда. Мысленно я уже находился далеко от Астрахани. В этот день, я мало старался говорить, больше пытался запоминать все, что, вскоре, будет очень далеко от меня. Я понимал — скорее всего, теряю это безвозвратно. И дело было даже не в том, что я не вернусь сюда, в эту квартиру. Могло случиться так, что я не вернусь в Астрахань совсем. Весь мой огромный опыт общения с врачами, говорил об этом. Не знаю почему, но все врачи, пытающиеся лечить меня, точнее, даже не лечить, а обещая начать лечение, все они пребывали в уверенности, — я не переживу операции. Конечно, я мог верить, мог не верить но, с моим заболеванием было возможно все.

Самым грустным было то, что бабушку я, скорее всего, больше никогда не увижу. Поэтому я старался, чтобы в этот день, мой последний день общения с ней, между нами не возникало никаких ссор, никаких разногласий.

— Бабуля, ты завтра пойдешь нас провожать?

— Антончик, это очень рано. Ты ведь знаешь, как я себя по утрам чувствую. Все будет зависеть от этого.

Я понимал, что завтра утром, чтобы окончательно придти в себя после сна и встать на ноги, ей понадобиться много времени и сил. Такое по утрам с бабушкой случалось все чаще и чаще.

— А ты решил, как ты доберешься до железнодорожного вокзала?

Ее вопрос, сразил меня простотой, а также тем, что это было единственное, о чем я даже и не подумал.

— Нет. Бабуля, как думаешь, что делать?

— Позвони деду. Может он что-нибудь придумает.

Звонок деду, также ничего не дал. Наиболее пригодным для употребления, был совет, позвонить в облздрав.

В приемной облздравотдела, долгое время никто не брал трубку. Наконец, раздалось долгожданное: «Алё!». Трубку взяла женщина.

— Здравствуйте! Меня зовут Антон Борисов. Завтра я должен ехать на лечение в Москву. Мне нужна Ваша помощь

— А чем мы можем Вам помочь? Вы едете на лечение? Так езжайте и все.

После этих ее слов, я не знал, что мне делать, плакать, смеяться, разговаривать с ней дальше или класть трубку прямо сейчас.

— Дело в том, что вы мне уже помогли, я имею в виду облздрав. Мне оплатили билеты на поезд. Для меня и двух моих сопровождающих. Потому что я не могу ходить. Но сейчас я не знаю, как я смогу завтра добраться до поезда. Как раз из-за этого. Из-за того, что я не могу ходить. Понимаете, я только лежу и в такси, точно не смогу поехать*.

— И чем мы Вам сможем помочь?

— Мне нужна машина, наподобие «скорой помощи», с носилками.

— Нужна? Звоните сами и решайте все вопросы с ними.

Решение проблемы, предложенное этой умной женщиной, мне показалось более чем странным. Однако, ничего другого, не оставалось, потому что она уже положила трубку, посчитав разговор оконченным.

После этого, еще пару часов разговоров по телефону с различными маленькими, средними и большими начальниками в «скорой помощи» дали, наконец, результат. Мне пообещали, что завтра, к восьми утра, автомобиль с носилками подъедет к нашему дому и довезет меня до железнодорожного вокзала.

— А дальше, как знаете, — закончил разговор человек, сообщивший мне эту приятную новость.

После такого «телефонного марафона» и общения с десятком разных людей, думать о том, что может быть «дальше», совсем не

хотелось. Твердо я уверен был только в одном: завтра я уеду.

«Оккупант»

В приемном покое Центрального института Травматологии и ортопедии мужчина в белом халате скрупулезно изучил документы, описывающие мои проблемы. Среди них находилось и то самое, «рекомендательное» письмо из Минздрава СССР. Принимающий придирчиво посмотрел сначала на письмо, потом внимательно — на пациента, и коротко бросил: «В шестое отделение», — после чего меня подхватили вместе с носилками на каталку и развернули чтобы везти по больничному коридору к лифту. Увидев белые стены, длинный ряд дверей, я внезапно почувствовал, что «вернулся». Странно, здесь, в этом институте я не был никогда. И все же, я — вернулся. Меня окружала знакомая, ставшая родной за годы моего «казенного» детства, больничная обстановка. Ноздри привычно выхватывали терпкий запах чего-то очень медицинского — запах вычищенного и продезинфицированного помещения. Он тоже был из моей коллекции «родных» обонятельных впечатлений. Я — вернулся. Вернулся в свою привычную обстановку. Неожиданно мне стало легко и спокойно. Все сомнения, страхи и переживания последних месяцев оставались там, в приемном покое, вместе с дедом и Виктором, которых еще ждала дорога домой, в то время как я уже прибыл на место. Я начинал новую жизнь, а им предстояло вернуться к старой. И эта старая их жизнь, как и моя собственная, сейчас меня совершенно не интересовали. Главное — впереди. Прощание ограничилось куцым: «До, свидания!». Я даже не пытался проводить их взглядом, когда каталка разворачивалась, чтобы везти меня в неизвестность.

* * *

Это был последний раз, когда я видел моего деда живым. Он умер в 1991 году. Очень подвижный и веселый, мой дед, Андрей Аврамович, так много для меня сделавший. Казалось что все беды, валившиеся на него, он переносил играючи, без малейшего для себя ущерба. Он никогда не жаловался, во всяком случае при мне. Может быть напрасно? Я заметил: люди, переносящие удары судьбы без стенаний и слезного нытья: «Ну, почему я такой несчастный?» — будто провоцируют все новые и новые испытания. Словно кто-то невидимый, специально к ним приставленный, методично прессует, давит, ломает гордецов, бьет со всех сторон, выявляя «запас прочности», ожидая мольбы и

жалоб.

Дед, всегда держался молодцом, но не смог перенести смерти внука Андрюши. Андрей, мой двоюродный брат, мамин племянник. Мальчику едва исполнилось 13 лет, когда он умер от рака желудка.

Два внука — сначала я, а следом Андрей — были потеряны дедом при жизни. Смерть Андрюши стала страшным потрясением. У деда случился инсульт. Его парализовало. Он не мог не только двигаться, но и говорить, перестал узнавать родных. Но жизнелюбивый характер и воля взяли свое. Спустя некоторое время, Андрей Аврамович пошел на поправку, даже начал интересоваться политической жизнью в стране. Как оказалось, напрасно. Потому что умер он возле телевизора. Последним словом дедушки было: «Фашист», брошенное в ответ на самозабвенную националистическую риторику главного славянофила страны Владимирна Жириновского. Конечно, Владимир Вольфович, к «коричневой чуме» никакого отношения не имел, но вот то что его телевизионная речь спровоцировала у моего деда — ветерана Великой Отечественной, еврея по крови, русского по духу — второй инсульт, тут уже ничего не изменишь.

* * *

Лифт, в котором меня поднимали, остановился на четвертом этаже. Я увидел дверь, с табличкой «отделение костной патологии». В нее и втолкнули мою каталку.

Для меня это лечебное заведение ничем не отличалось от других больниц, в которых мне довелось полежать за недлинную жизнь. Более того, когда меня закатили в палату, где отныне мне предстояло лежать, показалось, я вновь попал в астраханскую Первую областную клиническую больницу. Все было похожим. Палата имела тот же размер и была рассчитана на четыре кровати, однако, в ней, также как и в астраханской, стояло пять. По две кровати располагались вдоль стен, и одна — прямо под окном — на нее клали новеньких.

Конечно, я не ожидал в общедоступном* советском лечебном учреждении даже с гордым наименованием «институт», никакого «европейского» уровня. У меня уже был опыт лежания в подобном институте — саратовском. Московский мало чем отличался от своего провинциального собрата. Во всяком случае внешне. Меблировка, распорядок дня: время отбоя, подъема, приема пищи, различных процедур, операций, врачебных обходов, все было точной копией того, к чему я привык за время своих

«больничных университетов».

Хотя… Одно отличие все же, имелось. В названии учреждения присутствовало прилагательное «Центральный» и это кое о чем говорило. А именно: здесь лечились больные из всех республик Советского Союза и тех, в основном развивающихся стран, правительства которых были лояльны политике СССР. Наша палата тоже оказалась «интернациональной».

* * *

Мой сосед, размещавшийся в области головы, имени его не помню, был из Литвы. Как выглядел, тоже не помню — прожили мы вместе всего-то четыре неполных дня, однако, в память он врезался поведением: заносчивой демонстрацией своего превосходства над всеми другими, нелитовцами, но только теми нелитовцами, кто был из Союза. С нелитовцами из-за границы он подчеркнуто любезничал, не теряя, однако, при этом чувства собственного достоинства.

Был конец 1986 года, но уже тогда литовский патриот в полный голос возвещал о том, что Литвы скоро не будет в составе Советского Союза* и она вышвырнет из своих пределов всех «оккупантов». Поскольку в тот момент я оказался в палате единственным русским, то литовскую нелюбовь к России я сполна ощутил на своей шкуре.

Сначала, когда он, растягивая гласные, поприветствовал меня словами «Еще-о оди-и-инн окупаан-нт…» — я на время потерял дар речи. Я не понимал что происходит и как на это надо реагировать. У меня, лично, никаких претензий ни к Литве, ни к этому только что встретившемуся мне литовцу, не имелось. Но у литовца, уже был заготовлен длиннющий список претензий, в основном к СССР, которые он начал почему-то предъявлять мне. Я наслушался по полной программе: и про пакт «Молотова-Риббентропа», и про советскую оккупацию, и про литовское сопротивление, и про депортацию, про пострадавшую литовскую культуру и про русскую неотесанность и свинство. С его слов я понял, что в Литве русских ненавидят. Это было неприятное и болезненное открытие. Мое интернациональное воспитание давало себя знать. Ну, как же, всю жизнь мне внушали что Советский Союз это дружная семья сотен народов. Пятнадцать братских республик, плечом к плечу строили светлое будущее для себя и «торили туда дорогу» всему остальному человечеству. Я гордился тем что живу в такой удивительной, цветистой, многонародной стране и у меня были тому веские основания.

Астрахань — город многонациональный и в санатории, где я прожил двенадцать лет, лежали дети разных кровей, но никаких трений на этой почве у нас никогда не возникало, я был уверен, что так должно быть всюду, поэтому литовская ненависть ко всему советскому, а в особенности русскому, была для меня полной неожиданностью.

Зомбированный идеологами наднационального коммунистического общества, я не мог представить, что не всем нациям может нравится жизнь в таком грубо сколоченном народном общежитии, каким, по сути и являлся Советский Союз; что у каждого, не только народа, но и отдельно взятого человека, может быть индивидуальное, отличное от «генеральной линии КПСС», видение своего «светлого будущего», своего места в мире, что ни один народ не захочет жить и растить детей по правилам придуманным для него иноплеменными «братьями».

Это для меня ясно теперь. А тогда я, обманутый пропагандой, простой русский парень морально маялся и откровенно злился на этого, закусившего этнические удила, обыкновенного литовского дядьку. Хотя от его националистических взбрыкиваний становилось тошно. Возникало такое ощущение, что в страданиях его народа был виноват я один.

Общий язык литовец находил лишь с нашим соседом-эстонцем. Айвару было двадцать три года, но выглядел он намного старше. Нужно сказать, что Айвар поломал у меня все представления об эстонцах, в смысле, как они должны выглядеть. Черноволосый и черноглазый, он больше походил на жителя южных широт и менее всего — на северянина.

Малоразговорчивый, медлительный Айвар во многом соглашался с литовским «братом-прибалтом», особенно когда тот без церемоний называл всех русских «оккупантами» или «фашистами». Но, тем не менее, сам ни о чем «таком» не говорил, а иногда даже старался сдерживать разговорную агрессию «оккупированной стороны». После того как подлечившись, радикал из Литвы, покинул столицу ненавистного ему государства, Айвар оказался очень приятным соседом, с которым мы постоянно делили хлеб. Точнее, сдержанный на эмоции эстонец, щедро делился со мной — русским лежачим «окупантом» — своими съестными припасами, потому что в моей тумбочке, кроме семидесяти пяти оккупационных рублей, выданных мне бабушкой на обратный билет, никогда ничего не водилось.

Постоперационный синдром

Я медленно поднял набрякшие веки, и увидел глаза Сергея Тимофеевича — все остальное было закрыто марлевой маской.

— Ну, ты как? — в голосе слышалась тревога.

— Что, уже все? — я пытался понять, где нахожусь. Мое зрение не давало никакой информации, потому что дальше глаз Сергея Тимофеевича я ничего не видел. Его лицо находилось прямо надо мной. Не нужно было делать никаких усилий, чтобы увидеть его. Но я чувствовал такую невероятную слабость, что опять закрыл глаза.

— Смотри на меня! — произнес Сергей Тимофеевич голосом разгневанного генерала. Это было очень убедительно.

— Тяжело, Сергей Тимофеевич, — меня хватило только на то, чтобы прошептать это. Тем не менее, я не мог его ослушаться. Четыре месяца общения с моим дорогим доктором, убедили меня в том, что он умел добиваться своего. Если он просил, то отказать ему было невозможно. Тем более, если он приказывал. Я вновь попытался открыть глаза и некоторое время удержать их в этом состоянии.

— Ты что же это? Умирать вздумал? — в его голосе слышались озабоченность и добрая насмешка.

— Кто, я? — я не понимал, о чем он говорит. Мозг работал с большим скрипом. Усилия, затраченные на открытие глаз и короткие реплики, отнимали очень много энергии. На то, чтобы в это же самое время еще и соображать, сил уже не оставалось.

— Ты! Но, мы тебя оттуда достали. Станешь еще такие фортели выбрасывать, больше оперировать не буду! — Сергей Тимофеевич шутил, тем не менее, я воспринял его «угрозу» вполне серьезно.

— Не-е, больше не буду. А где я?

— В реанимации, — профессор оставался рядом, однако его лицо медленно уплыло из поля моего зрения.

— В реанимации? А чего я здесь делаю. Сколько времени сейчас? — я попытался сориентироваться, чтобы понять, хотя бы по косвенным признакам, сколько длилась операция и каков результат.

— Почти десять вечера.

— А чего Вы не дома?

Вообще-то, профессор очень редко задерживался так долго в институте. За, почти четыре месяца, что я здесь лежал, таким запоздниившимся на работе мне видеть его не доводилось.

— Вот, решил посмотреть, как ты будешь себя вести.

— Я хорошо буду себя вести, — я пытался поддерживать взятый им тон разговора. — Сергей Тимофеевич, как прошла операция?

— Нормально. А ты сам не видишь? — в его голосе я услышал удовлетворенность, тем, как он проделал свою работу.

Только после его вопроса до меня дошло, что если бы мои

мозги в тот момент, двигались немного побыстрее, я бы мог сообразить, что о результатах операции можно узнать просто: достаточно немного скосить глаза вправо. Я попытался это сделать, однако, смог увидеть только часть плеча, точнее, это был бинт на моем плече. Причем, нижняя часть бинта была красной от крови. В плече и во всей руке чувствовалась скованность и тупая боль. Только сейчас я сообразил, что рука постепенно начинает болеть. Боль становилась сильнее и сильнее.

— Я ничего не вижу.

— Ты очень много крови потерял, потому что пришлось делать сразу всю руку, целиком. Крови мы тебе много влили. Почти что обновили всю, — он помедлил. — Руку я тебе, все-таки, выправил. Вот только, боюсь, что нерв я тебе задел. Невозможно было по-другому. Ты же помнишь, в каком состоянии она была? Сложена вдвое, напополам. Теперь ты ее не узнаешь.

Зацепин говорил и говорил. Я впервые видел его в таком состоянии. Видно было что он неимоверно устал и в то же время очень доволен.

— Я помню. А она ломаться больше не будет?

— Ты знаешь, что из себя представляют твои кости? Это что-то вроде хряща у курицы. Я тебе в руку железные штифты вставил. Не думаю, что они сломаются, — он улыбнулся. — Попробуй, пошевели пальцами! — Сергей Тимофеевич откинул простынь с моей правой руки и дотронулся до пальцев.

— Не могу, — я сделал несколько попыток. У меня ничего не получилось, только рука стала болеть еще сильнее.

— Пальцы тоже не чувствуешь?

— Нет.

— Нерв восстановится. Придется потрудиться, но он обязательно восстановится. Как только из реанимации переведут в палату, начнешь заниматься с физиотерапевтом, — говорил он очень уверенным голосом. Я — верил ему.

— Больно очень.

— Сейчас попрошу медсестру, вколоть тебе обезболивающий.

— Спасибо, вам, большое, Сергей Тимофеевич!

— Я пошел домой. Смотри, мне, больше не умирай.

— Не, больше не буду. Постараюсь, — разговор отнял у меня последние силы. Я в изнеможении закрыл глаза, как будто, вновь провалился. Лишь на мгновение почувствовал укол, который сделала медсестра.

В ту ночь я, то приходил в себя, то погружался в состояние, когда сознание полностью отключалось. Мне казалось, что времени, с момента моей операции прошло очень много. Когда я пришел в себя, почти окончательно, то оказалось, что прошло

всего лишь несколько часов.

Я открыл глаза и увидел стоящую рядом с моей постелью, медсестру. Она что-то делала с моей ногой, при этом, я ощутил, что бедро правой ноги, как будто чем-то сжимается.

— Что вы делаете? — я говорил очень тихо, потому что вокруг меня была почти идеальная тишина, нарушаемая только жужжанием и пиканьем каких-то приборов. Впрочем, я был настолько слаб, что даже при всем желании не смог бы говорить громче. Вдобавок мое горло болело, как будто, совсем недавно его подрали наждачной бумагой.

— Я тебе меряю давление.

— На ноге? — меня это удивило. Я много раз видел, как больным измеряли давление: при этом манжету тонометра всегда накладывали на руку. Мне давление практически никогда не измеряли. Как раз по причине моего заболевания. Попытки были, но как только в манжету начинали накачивать воздух, она начинала сжимать и, буквально, раздавливать мои кости. Я кричал от боли, и все заканчивалось тем, что манжету снимали, так ничего и не измерив. Но, после операции врачи были обязаны следить за моим давлением.

— Да, на ноге. А где еще это возможно у тебя? — она при этом, как будто бы улыбнулась. Во всяком случае, ее глаза это показывали.

Я ощутил, как сдавливаются мышцы ноги. Было больно и страшно, вдруг манжета, все-таки, расплющит мое бедро.

— Сколько сейчас времени?

— Два часа ночи.

— Мне вчера операцию делали?

— Да. Уже вчера.

— Значит, я выжил? Пережил операцию?

Она посмотрела на меня с усмешкой.

— Ну, если бы не те, кто тебя оперировали, то и не выжил бы. Тебе Сергей Тимофеевич рассказывал, что случилось?

— Он что-то шутил о том, что я умирал и еще что-то…

— Он совсем не шутил. Можешь считать, что ты во второй раз родился. Он из-за тебя здесь надолго задержался, ждал, пока ты придешь в себя, — она снова улыбнулась. — Ладно, спи. Тебе обезболивающее нужно колоть?

Я попытался понять, болит ли у меня рука. Рука болела, но боль была, как будто где-то очень глубоко. Какая-то очень тупая боль.

— Угу. Уколите меня и я посплю.

— Вообще-то, почти два часа назад я тебе уже делала укол. Так что, еще не совсем время. Но, так как ты после операции, то

— уколю. Чтобы ты успокоился.

— Хорошо. Вам же лучше. Я засну, и вас дергать не буду.

— Да ты и так не сильно дергаешь.

Через некоторое время, она подошла со шприцем и впрыснула содержимое прямо в трубку с капельницей, которая была введена в мою вену.

Я опять провалился.

За эту ночь я еще несколько раз приходил в себя и вновь терял сознание. При этом, слева от меня, все время находился какой-то источник шума, люди что-то говорили, я слышал какие-то фразы.

— Как давление?

— Дефибриллятор!

— Давление в норме.

— Пока жива.

Приходя в себя и вновь проваливаясь во тьму, я думал о том, что как только мне станет немного лучше, нужно непременно узнать причину этого шума. Я понимал, что кто-то слева от меня умирает и этого «кого-то», пытаются спасать, но открыть глаза и попытаться выяснить, что же там происходит — не было сил.

Очнулся я от того, что кто-то прикасался чем-то, очень холодным, к моей левой руке. Я повернулся. Та же самая медсестра, с которой я, как будто, совсем недавно разговаривал, пыталась укрепить во мне термометр. У нее это не особо хорошо получалось.

— Держи!

— Уже утро?

— А как ты это определил?

— Вы же только по утрам температуру меряете.

— Я тебе ее каждый час измеряю, — она улыбнулась, и теперь я мог разглядеть ее улыбку.

— Да, сейчас утро. Скоро врачи все на работу придут. Как ты себя чувствуешь? А то профессор уже несколько раз звонил, о тебе спрашивал.

— Я? Хорошо. Передайте ему, что я скорее жив, чем мертв, — в этот момент я вспомнил, подвернувшуюся, откуда-то, цитату. Я, правда, чувствовал себя совсем неплохо. Если бы только не слабость.

— Шутишь? Значит чувствуешь себя хорошо. Так и передам.

Она отошла. Силы опять меня покидали. Слабость была такая, что малейшее действие, требующее не очень большого напряжения, даже простой разговор, вгоняли меня в забытье.

В очередной раз открыв глаза я увидел профессора Зацепина, стоящего прямо надо мной.

— Ну, как ты сейчас себя чувствуешь?

— Хорошо. Только слабость.

— А что ты хочешь? Мы тебе вчера столько крови влили. Но, температура у тебя почти нормальная. Посмотрим, когда тебя можно будет перевести отсюда в палату. Понаблюдаем еще здесь.

Он вышел. Комната, в которой я находился, была ошутимо больше моей палаты. В ней стояло несколько кроватей, отгороженных ширмами. Слева ширмы не было. Левосторонний обзор всегда представлял для меня проблему. Для того, чтобы хорошо видеть, я пристраиваюсь так, чтобы объект наблюдения находился справа от меня. Из-за этой многолетней уже, привычки, я без труда могу повернуть голову вправо. Но если возникает необходимость повернуть ее влево, то я могу это сделать с большим трудом, и то, лишь, до половины — мышцы шеи не позволяют. Все же я попробовал. Было интересно узнать кто же там находится, кто тот, за чью жизнь боролись врачи во время моего полубеспамятства? Видимо движение получилось очень резким. Рвущая боль пронзила плечо. Я вскрикнул и поспешил вернуть голову в исходное положение. Немного успокоившись, пригляделся к прооперированной руке. Вся она, точнее, марлевая повязка на ней, была коричнево-рыжего цвета. Я понял, это высохшая кровь намертво приклеила меня к носилкам и не давала повернуться.

Однако, что там слева, очень меня интересовало. Учитывая предыдущий опыт, теперь я поворачивал голову крайне осторожно. Заняв подходящую позицию, скосил глаза и стал осматривать открывшееся пространство. На расстоянии, примерно, метра, находилась ширма, но она ничего не загораживала. Еще дальше располагалась кровать на которой лежала молодая женщина. Она была совершенно голая. Я такого никогда не видел поэтому мгновенно оробел, быстро отвел глаза и… столкнулся взглядом с Зацепиным, входящим в комнату.

— Ты что это делаешь? — профессор усмехнулся и встал, загородив женщину. Впрочем, я туда особо и не смотрел. Не скажу, что мне было не интересно, но рядом с профессором я чувствовал себя «не в праве».

— Скучно, Сергей Тимофеевич, — я очень слабо и виновато улыбнулся ему, при этом, конечно засмущался, как будто он поймал меня на чем-то постыдном.

— Скучно? Значит, переводим тебя в палату, чтобы не скучал.

— А что с женщиной? — я спросил, не надеясь на ответ. Медики неохотно посвящали пациентов в больничные тайны. Врачебная этика и все такое.

— Попала в аварию, вместе с сыном. На автомобиле. Сын —

погиб. Пять лет, — коротко, он мне все же ответил. О шансах этой женщины на жизнь я спрашивать не стал. Она не имела никакого отношения к нашему отделению. Я решил спросить о ней у медсестер, работающих здесь же. Они более словоохотливы. Как оказалось, шансов у моей соседки не было. Она умерла на второй день после роковой аварии, так не придя в сознание и, к счастью, ничего не узнав о судьбе своего сына.

— Сейчас мы тебя отсюда переведем в палату. Но, сначала на перевязку, — профессор уже был почти у двери.

— Сергей Тимофеевич, я присох здесь. Приклеился! — я попытался говорить громко, насколько мог.

На миг Зацепин остановился в дверях.

— Не переживай, отклеим! — он, явно, был в хорошем настроении.

Через пять минут я увидел, пришедших за мной, вместе с каталкой, наших медсестер. Их сопровождала Тамара Николаевна. Меня повезли в перевязочную.

Там уже ждал Зацепин. Марля присохла, и чтобы ее снять, Тамаре Николаевне, пришлось, сначала намочить бинты чем-то желтым, как я понял, это был фурациллин, дезинфицирующее средство. Вспомнилось мне, что в санатории, это лекарство, обычно, назначали при лечении ангины. Одну таблетку разводили в стакане воды, а потом, давали полоскать этим раствором, горло. Типа «гр-р-р-р».

— Отвернись! — строго произнесла Тамара Николаевна. Ослушаться ее я никак не мог. Мне ужасно хотелось посмотреть на «новую» руку, но, если нельзя — то нельзя. Я понимал, что еще успею ее увидеть.

Профессору тоже было интересно. Он внимательно следил как Тамара Николаевна делает перевязку.

— Кажется, все очень хорошо? — как-то, полуутвердительно, полувопросительно, произнес Зацепин. — Посмотри, что мы с твоей рукой сделали! — это уже мне.

— Не поворачивайся! — еще более строгим голосом предостереглаТамара Николаевна.

— Пусть посмотрит, — Сергей Тимофеевич уже не настаивал, а как бы, шутя, упрашивал ее разрешить мне посмотреть на мою же руку.

— Успеет еще, — Тамара Николаевна была непреклонна.

Она остерегалась что я надышу какую-нибудь заразу в свежую рану и добавлю всем головной боли. После операции, организм мой сильно ослабел и всякие инфекции были ему категорически противопоказаны.

* * *

Я перемещался в палату и чувствовал себя очень счастливым. Впервые, за много лет бесполезного кочевания по больницам, меня, наконец-то, лечили, мне что-то делали, пытались помочь…

Меня переложили на кровать. После реанимации, а особенно после перевязки, я чувствовал себя уставшим. Попросив сделать обезболивающий укол, я лежал, ощущая, как режущая, разрывающая руку боль постепенно уходила, становясь все меньше и меньше. Соседи по палате понимали, что после операции, очень важны минуты, когда обезболивающий укол начинает делать свое дело и в теле, постепенно спадает напряжение. В эти короткие периоды, мозг, находящийся в непрерывной болевой блокаде, получает передышку и может позволить себе думать о чем-нибудь еще кроме боли. Об этом все знали и, обычно, пытались в эти минуты создавать как можно меньше шума. В палате стояла практически «мертвая» тишина и я уже закрыл глаза, приготовившись, если удастся, хоть на короткое время заснуть. Уже почти растворившись в сладком забытье, я, внезапно, услышал чей-то шепот. Кто-то, находился очень близко. Я открыл глаза.

Совсем рядом, стояли две девушки. Лица их были незнакомы. Вот только эти глаза я уже где-то видел, но не мог вспомнить где.

— Привет! — сказала та, что находилась ближе. Вторая стояла позади. Обе были симпатичными, высокими, правда, одна чуть ниже. На вид лет по двадцать, но я понимал, что они как раз в том возрасте, когда им могло быть и по двадцать пять и по шестнадцать.

— Привет, — я мучительно пытался вспомнить, где я их видел. Точнее, где я видел их глаза? Казалось, это было совсем недавно.

— Ты нас не помнишь?

— Нет.

Я помнил только глаза, где-то я их видел вот только где? Соседи по палате, насторожились. Исмаил смотрел на девушек, словно собирался броситься к ним с поцелуями. Он всегда смотрел такими глазами на представительниц противоположного пола. Несмотря на скромную комплекцию, он думал о себе как о мужчине с неотразимой внешностью, при виде которого, все девушки должны были впадать в ступор. Всегда было забавно наблюдать за ним в подобных ситуациях.

— Мы тебе вчера так и не успели до конца объяснить, что такое «горы».

Я вспомнил!

— Нет, про горы вы мне объяснили, — я улыбался, радуясь подаренной определенности. — Вы мне про реки ничего не успели объяснить.

— Меня зовут Лена, а ее Оля, — девушка стоящая ближе ко мне кивнула на подругу за своей спиной.

— Меня зовут Антон.

— Да, да, — заговорила Оля.

— Мы знаем, — прервала свою подругу Лена. — Ты что же нас вчера обманывал?

— Я не обманывал. Я отвлекался от тяжелых мыслей.

— У тебя хорошо вышло. Мы сначала поверили. Потом решили узнать о тебе побольше.

— И что?

— Тебе в институте разве не объясняли, что такое «реки»? — Лена улыбалась.

— Нет. Я учусь на литературном факультете, а не на естественно-географическом, — я тоже улыбался, понимая, что девушки отнеслись вполне дружелюбно к моему «розыгрышу».

— Мы здесь на практике, еще две недели будем. Мы еще к тебе зайдем.

* * *

Потом они часто приходили в палату и даже приезжали ко мне, после того, как их практика закончилась. Жили девушки, где-то в Подмосковье. Они приносили мне книги, несколько раз вытаскивали меня гулять на улицу и возили на каталке по двору института. Оля и Лена оказались замечательными девчонками. Я до сих пор вспоминаю их с теплотой. Мы разговаривали о многом. Они пытались у меня выяснить, почему так легко попались на мой нечаянный розыгрыш. Для меня тоже не все было понятно, почему это произошло. Может быть потому, что до этого они мало сталкивались с миром, в котором живут люди с физическими ограничениями? Они сами подвели меня к такому выводу, честно рассказав, что, когда встретились со мной в день операции то сразу, не сговариваясь, решили, что я — дурачок. Ну, не дурачок, а ущербный что-ли. Стоило им только бросить взгляды на мое крошечное, страшненькое тело и сразу все становилось ясно: человек с таким заболеванием, неподвижный, не имеющий возможностей для интенсивной учебы и всяческого культурно-духовного развития не может быть интеллектуально содержательным. Лишенный способности передвигаться, маленький, кособокий, он и в умственном отношении навсегда

останется таким же скрюченным. Даже если мозги у него с рождения и были нормальными, все равно неполноценность физическая станет тормозом во всем, в том числе для развития ума. Неполноценный — он неполноценный всюду: и в быту, и в учебе, и в общении. Так они думали до встречи со мной. И не только они. Так считали 90 процентов тогдашнего населения СССР.

Жесткая тоталитарная государственность Страны Советов, его воинствующая идеология, способствовали именно такому отношению простых людей к гражданам с ограниченными возможностями. Последних как бы не было в вообще. Их не было на улицах, в магазинах, в кинотеатрах, в библиотеках, на стадионах. Их не было нигде. Семьи, имеющие дома детей с инвалидностью, мало отличались в этом отношении от моей семьи. Психологические, материальные, бытовые трудности у всех были одинаковы. Семьи, имевшие близких, нуждавшихся в опеке, были предоставлены сами себе и несли это как крест, который следует нести незаметно и не мешать другим, неограниченным в возможностях людям, идти с поднятой головой к светлому будущему.

В последующей жизни я много раз оказывался в ситуации, когда очередной новый знакомый признавался: «Знаешь, Антон, а я сначала был у верен, что ты того, — с тараканами» — и смеясь крутил пальцем у своего виска. Я тоже смеялся. Иногда.

* * *

В этот же день, после посещения меня Леной и Ольгой, пришла женщина, физиотерапевт. Начались сеансы лечебной гимнастики. Нерв, задетый на операции, требовал срочного восстановления. Я не чувствовал прооперированную руку и физиотерапевт сама, сгибала и разгибала пальцы, возвращая, как говорят специалисты, функциональную подвижность моей парализованной конечности.

«Принц датский-2» и гегемон

Он смотрел на всех свысока, не отличаясь при этом высоким ростом. Свое превосходство над другими, он объяснял тем, что принадлежал, как он сам выражался, к «рабочему классу — гегемону советского общества».

Иван приехал из Тюмени, где работал на буровой. К нам его положили после того, как он, по каким-то причинам, не ужился с ребятами из соседней палаты. Причин он не называл, однако, отзывался о своих бывших соседях очень презрительно. С ними он прососедствовал два с половиной дня. И за это время сумел достать всю палату своим агрессивным занудством. То, кто-то, выходя в коридор, не закрыл за собой дверь. Потом кто-то из соседей, открыл окно, без консультаций с Иваном. Гегемона-работягу раздражало все: громкий смех, оживленный разговор, храп, кашель, чужие костыли, прислоненные к спинке его кровати, неплотно закрытый кран. Был бы хоть малейший повод, а уж Ваня как хороший дизель с буровой моментально заводился и начинал тарахтеть, раздражая окружающих. Так продолжалось два дня. На третий, рано утром, Иван пошел жаловаться на своих соседей заведующему отделением. Заведующий пообещал что-то предпринять. Но, сразу этого не сделал, а отослал Ивана назад в палату, с обещанием, что подойдет позже и разберется.

Иван ушел. А через час заведующему пришлось рысью бежать в эту палату разнимать дерущихся.

Инициатора потасовки перевели в нашу палату. При этом, заведующий пригрозил ему, что в случае, если и здесь будут возникать какие-либо недоразумения, он не станет даже искать зачинщика, просто выпишет Ивана без продолжения лечения и без выдачи больничного листа. Угроза подействовала. Во всяком случае, громко хамить он перестал.

Иван боготворил деньги. Количество наличности было для него главным показателем полезности человека. Объем кошелька собеседника был решающим в определении его значимости и места, которое тот занимал по сравнению с самим Иваном.

Себя Иван оценивал и ставил исключительно высоко, потому что, как он выражался, «я — рабочий и я создаю все богатства в этом государстве, я — гегемон». Соответственно этому утверждению, Иван требовал почтительного отношения к себе, со стороны всех остальных.

Нужно сказать, что я впервые столкнулся с человеком, имеющим такое отношение к деньгам и к жизни. Он откровенно презирал всех о ком говорил, в том числе пренебрежительно

отзывался о лечащих его врачах. Понимание того, что он на своей буровой вышке зарабатывал очень много, по сравнению с теми же врачами, делало его отталкивающе чванливым и заносчивым.

Впервые увидев меня, Иван как-то, странно хмыкнул и, оглядев остальных, неожиданно спросил.

— А чего его так обрезали? — и снова, хмыкнул.

Мои соседи — двое молодых парней Алексей и Юрий, аж привстали от такого черного юмора. И быть бы скандалу, но я их опередил.

— Меня зовут Антон, — представился я.

— А-а-а, так ты еще и разговариваешь?

В его голосе слышалась угроза. Мне было не понятно, чего он хочет. В тот момент, совсем не хотелось, чтобы все начиналось так нехорошо. Мой более чем пятнадцатилетний опыт, научил меня находить общий язык почти с каждым, с кем мне приходилось жить в одной палате. Я знал, что ни в коем случае, не нужно начинать знакомство с конфликта.

— Разговариваю. Даже иногда на вопросы отвечаю, — я улыбнулся, показывая, что нисколько не обиделся.

— Меня Иваном зовут, — буркнул он. И, подойдя к своей кровати, бросил на нее принесенные вещи.

* * *

На второй день, после переселения в нашу палату, после ужина, Иван сидел на своей кровати. Ребята играли в шашки. Я, как и всегда, в последнее время, был занят тем, что было для меня важнее всего: сгибал и разгибал в локте правую руку, а также, разрабатывал кисть, сжимая маленький мячик.

— А вы столько денег видели? — совершенно неожиданно спросил Иван, обращаясь ко всем. С этим он полез в свою тумбочку и вытащил оттуда маленькую сумочку, такую, в которых обычно носят документы. Из сумочки он извлек бумажник и достал оттуда увесистую пачку денег.

Ребята, отвлекшись от игры, повернулись на голос. Я тоже посмотрел в сторону Ивана.

— Пятьсот рублей! — с каким-то, совершенно непонятным торжеством в голосе, сказал он. — Я это за месяц зарабатываю.

Не могу сказать, чтобы я когда-нибудь видел столько денег одновременно. Пачка, которую он держал в руке, равнялась сумме моей и бабушкиной пенсий, за полгода. Ребята тоже были не из состоятельных. Какой реакции ожидал от нас Иван было не понятно. Восхищения? Удивления? Зависти? А оно того стоит?

Поэтому, и я, и ребята, посмотрев на деньги, почти сразу же вернулись к прерванным занятиям. Лишь, Алексей, что-то, очень коротко, буркнул.

— Чего ты сказал? — взвился Иван.

— Заработаем, я говорю, когда надо будет, — Алексей окончательно отвернулся, и решительно сделал свой очередной ход шашкой давая понять Ивану, что для него эта тема исчерпана.

Я повернулся в сторону Ивана. Он увидел мое движение и стал перебирать деньги в руках. Закончив считать, медленно начал впихивать пачку купюр в бумажник. При этом продолжал бросать на меня короткие взгляды.

Начиная с того дня, он стал опасаться за сохранность своего богатства. По вечерам, а также в субботу и воскресенье, днем, он куда-то надолго уходил, как он выражался «смотреть Москву». В эти часы, мы просто отдыхали. Все же очень утомительно, находиться долгое время в обществе человека, который относится к тебе с подозрительностью, граничащей с ненавистью. Самым обидным было то, что у него не было для этого никаких оснований.

Возвращаясь в палату после прогулок, он обязательно, подходил к своей тумбочке, вытаскивал бумажник и, улегшись на койку, пересчитывал деньги, изредка бросая на нас взгляды. Мы находились под подозрением.

* * *

У Ивана было что-то с плечом правой руки. Врачи подозревали опухоль и положили его на обследование. Как и полагалось, в таких случаях, нужно было ждать результатов. Опухоль была, боли в плече Иван тоже ощущал постоянно. Но, прошло уже две недели, а диагноз так и не был установлен. Все шло к тому, что нужно делать биопсию больной кости. Эта процедура проводилась под общим наркозом. И, вот как раз на наркоз, Иван соглашаться не хотел. Кто-то, еще, когда он был дома, сказал ему, что наркоз влияет на сердце.

Временами Иван вел себя абсолютно нормально, в эти моменты, с ним можно было поговорить и, было очень хорошо понятно, что человек он, на самом деле, неплохой. Может быть, он просто не знал, как это можно — быть хорошим. Когда он говорил о семье, о своей жизни, его широкое, скуластое лицо, становилось совсем другим. В нем не было ни презрительности, ни подозрительности. Каким-то образом, с лица слетала маска жесткого человека, и оказывалось, что перед тобой сидит

обычный парень, с очень нелегкой жизнью за плечами. С жизненным опытом, немалым для его двадцати восьми лет. Прошедший школу жестокости. Много нуждавшийся, и много работавший. Становилась понятной его воспаленная любовь к банковским билетам и оценка всех и всего, только в денежном эквиваленте.

Иван родился где-то в Калужской области. В небольшом селе. Там же закончил восемь классов, а в техникум или училище идти не захотел. Его можно понять. Мать одна растила двоих детей, его и младшую сестру. Отца в семье не стало очень рано и, по какой причине это случилось, Иван не рассказывал. На некоторые темы он вообще отказывался говорить. Из его разговоров было лишь понятно, что отца Иван помнил.

После окончания восьми классов он пошел работать. И работу выбирал самую тяжелую. За тяжелую и платили тогда хорошо, но, чтобы получать еще больше денег он уехал в Тюмень. Тогда, как раз, с экранов телевизоров, сходил в народ образ рабочего, осваивающего самые отдаленные уголки Советского Союза. Иван рассказал, что как-то, по телевизору увидел передачу о тюменских нефтяниках. Один из них, в интервью, поведал про хорошие зарплаты и тем самым «благословил» Ивана, на решение, ехать в Тюмень. Правда, как рассказал Иван, он перепроверил сведения насчет зарплаты. Убедившись, что деньги, там действительно светят большие, парень, со спокойной душой, уехал осваивать нефтяные месторождения. Так сказать, присосался к недрам.

И, как он говорил, не пожалел. Потому что, во-первых, он теперь начал зарабатывать достаточно денег. Достаточно для того, чтобы иногда отсылать их матери и сестре. Во-вторых, еще и потому, что встретил в Тюмени девушку, на которой женился. Что «во-первых», что «во-вторых», эти акценты расставил сам Иван. Видимо, для него, помнившего нужду, вылезти из нее, зарабатывая достаточно средств, чтобы содержать не только себя, но и семью, для него эти акценты, и были — истинными.

После свадьбы, Иван, совсем недолго, прожил с женой в общежитии. Как он говорил, ему повезло, потому что, квартиру они получили еще до рождения первого ребенка. А теперь их у него было четверо. Три дочки и сын. Своей семьей Иван очень гордился. Это было хорошо видно по лицу. В те моменты, когда он говорил о «своих», оно становились неестественно добрым.

* * *

Иван лежал на кровати, делая вид, что увлечен газетой. Вообще, видеть его читающим, было очень непривычно. Книг он не признавал совсем. Газеты иногда оказывались в его руках, но, как правило, он рассматривал страницы, с объявлениями. По вечерам, он, обычно, уходил из клиники, на прогулки по Москве, однако, в этот вечер никуда не пошел. Утром, Иван узнал, что его опухоль не представляет никакой опасности. Пока не представляет. Опухоль не была злокачественной, но могла ей стать в будущем. А могла и не стать.

Как-то, Сергей Тимофеевич, немного рассказал нам об опухолях, о том, как они могут появляться. А также о том, что доброкачественные опухоли могут превращаться в злокачественные. Врачи предложили Ивану решить, удалять опухоль сейчас или, если он не хочет, выписываться домой. В этом случае, он должен будет приехать в клинику через полгода для обследования.

Кроме нас, в палате никого не было. Оба наших соседа, ушли. Даже в больнице, жизнь продолжала бить ключом. Два дня назад они обнаружили в соседней с нами, женской палате, присутствие девушек их возраста и вот, отправились на встречу.

Я, в тот момент, занимался своим обычным делом, разрабатывал руку. В какой-то мере, делал я это еще и от того, что больше ничего делать был не в состоянии. Иван, иногда отвлекался от «чтения», бросая взгляды в мою сторону. Он явно хотел поговорить, только, что-то его останавливало.

— Как думаешь, мне соглашаться на операцию? — он приподнялся на кровати, опершись на локоть.

— Это ты сам должен решать.

— Не хочу я ложиться под наркоз. Мне ведь сказали, что я могу жить с этой опухолью еще очень долго.

— Но, ты же сам говоришь, что боли сильные.

— Последнюю неделю боли почти пропали.

— В любом случае, решать должен только ты, — повторил я, ставя точку в разговоре. Это было только его дело.

— Я знаю. Все равно, под наркоз, сейчас, ложиться не хочу. Вполне может быть, что опухоль больше не будет расти.

— Может быть, а может и не быть. Может, проще, перетерпеть сейчас и потом быть спокойным, — мне этот бессмысленный разговор, был неприятен. Все слова произносились впустую. Если он принял решение, то зачем спрашивает? Ну, а если решения до сих пор нет, то я здесь ничем ему помочь не могу. Брать на себя ответственность, за чье-то здоровье? Извините…

— Если сам не можешь решить, позвони жене. Спроси ее, что она об этом думает, — я надеялся, что он, наконец, отстанет от

меня — своих проблем выше крыши.

— Завтра она мне должна позвонить. Завтра и спрошу.

Иван откинулся на подушку и снова взял в руки газету.

Я, также как и он, вернулся к прерванному занятию. Однако, заниматься своей рукой долго не пришлось. Минут через пять, «чтение» газеты, Ивану наскучило. Или, скорее всего, у него не было больше сил сдерживать свое мрачное любопытство.

— Зачем ты живешь? — совершенно внезапно спросил он.

— В каком смысле?

— Почему ты живешь?

— Я не понимаю?

— Ну, вот какая от тебя польза?

Вопрос был конкретный и застал меня врасплох. Не потому, что я никогда не задумывался над этим. Напротив. Как раз, ответы на подобные вопросы, я мучительно искал, когда стал осознавать, что окружающие не воспринимают меня всерьез потому что видят во мне болезнь и ничего кроме болезни. Но в тот момент, простых и ясных ответов у меня не было. Конечно, я понимал, нет, скорее, чувствовал, что делать что-либо нужное, приносить пользу людям — все это не является непосильной задачей для меня. Даже если я не имею возможности передвигаться, и, даже если мои руки не работают в полную силу, все равно можно найти себе занятие, плоды которого будут востребованы окружающими. Это было понятно мне, но выразить свои чувства словами я еще не мог.

— Что ты предлагаешь?

— Почему ты не удавишься? Ну-у, это… Почему не повесишься?

— А почему ты об этом заговорил?

— Потому что, вот смотри, ты — живешь. На твое лечение тратят деньги. Государство тебе платит пособие. А в то же время, кому-то, кто может передвигаться, у кого нет проблем со здоровьем, ему может не хватать денег. На еду, или на квартиру.

Он уже сидел на кровати, говорил горячо, при этом размахивая руками. Но что-то в его логике не связывалось.

— Если у человека нет проблем со здоровьем, и он может ходить, то, очевидно, он сможет сам заработать деньги? Вот, как ты, к примеру.

— Да, конечно, может. Но, вот пока ты живешь, на тебя, сколько всего расходуется? В то же время, у кого-то это все забирается.

— Я понял. Но вот что ты предлагаешь?

— На твоем месте, я бы давно повесился. Зачем жить? — он смотрел на меня, очень внимательным взглядом.

— Знаешь, не дай тебе Бог, оказаться на моем месте, — я искренне, очень не хотел, чтобы кто-то еще, попробовал, хотя бы малую часть того, что пережил я. Мне было непонятно почему Иван вдруг заговорил об этом. Ему-то, на своей буровой, в окружении жены и четырех детей, какое было дело до моей жизни и смерти?

— Я бы, правда, не смог так жить. Семьи у тебя быть не может. Работать нормально ты тоже не сможешь никогда. Никакой пользы. Зачем?

Высказав это все, он, как бы, облегчился, встал с постели, всунул ноги в ботинки, стоявшие рядом с кроватью и вышел в коридор, оставив меня, наедине со своими мыслями. Злости в его словах не было. Обидеть он меня не смог. То, о чем говорил Иван, я сам тысячекратно прокачивал через свое сознание.

Так, жить или не жить? Вряд ли кто-нибудь еще столько раз задавался гамлетовским вопросом, ответом на который были не аплодисменты зрительного зала, а вполне конкретная — моя — жизнь. Иван не знал, сколько раз, я был на грани, сколько раз, я приходил к решению о том, что жить дальше — смысла нет. И, столько же раз, что-то, останавливало меня, и я продолжал жить.

Почему? Боялся ли я умереть? Трудно сказать. Точно знаю, что физическую боль — эту одну из составляющих страха — в расчет я не брал. Натерпелся и притерпелся за всю жизнь и был вполне согласен еще немного помучиться чтобы навсегда избавиться от плотских страданий, переполнявших мое тело.

Может быть сердечные человеческие отношения, финансовое процветание и заманчивые планы на будущее останавливали меня? Тоже нет. Друзей у меня не было, родные от меня отказались, а в ближайшем и оставшемся будущем меня ожидали тридцатисемирублевая пенсия по инвалидности и казенный дом-интернат, с казенной едой, казенными одеялами, казенными отношениями, казенным милосердием и казенными похоронами. Ужасное место, оказаться в котором для меня было все равно что заживо лечь в могилу. Мысли об интернате, одиночестве и постепенном погружении в трясину слабоумия вызывали ответные мысли о самоубийстве, которые время от времени заполняли все мое существо.

Вот только, в самый последний момент, в самые черные минуты отчаяния, что-то удерживало меня от рокового шага. Так что же? Может быть гамлетовский «страх чего-то после смерти»? Не знаю. Если вдуматься, то мое земное существование, лишенное всего самого дорогого для человека: общения с друзьями и женщинами, плодотворной работы, рождения и воплощения идей, знакомств, открытий, путешествий… лишенная

подвижности, а значит и всего с ней связанного, замурованная в четырех стенах моя жизнь, мало чем отличалась от Вечной Безмолвной Пустоты — того что, как мне казалось, ожидало меня за порогом бытия. Так чего мне бояться? Загробного одиночества? Это слишком… Я был бесконечно одинок и несчастен сейчас, и конечно же не боялся что стану еще более несчастным, перейдя в мир иной. Мое атеистическое мышление категорически отвергало маловразумительное горение в адском пламени, которое полагалось мне как самоубийце, и которое на фоне не утихающей боли от переломов, воспринималось чем-то вроде детской страшилки на ночь.

Нет, не страх «чего-то после» удерживал меня от рокового шага, не страх был спасителем моей жизни. Спасителями и хранителями ее были Иллюзия и Надежда. Великая Иллюзия, что, несмотря на болезнь, я такой же, как другие люди, что я имею право на достойную жизнь и Великая Надежда, что когда-нибудь так произойдет. Но это будет возможным только в том случае, если я буду жить.

* * *

Я живу — пытаюсь нащупать свой путь, рвусь использовать любую возможность, малейшую лазейку, чтобы добраться, доползти до своей цели. Но почему даже в такой малости мне отказывают? Сам же Иван, прежде чем крепко стать на ноги прошел через много чего, нахлебался трудностей под завязку, полной ложкой, от души. Уж он то, казалось, должен воспринять мои усилия как нормальную человеческую потребность. Но не воспринимает. В его сознании сформировался свой собственный мир где для успеха нужны крепкие кости и мышцы, нахрапистость и всегдашняя готовность драться за свои интересы, и в этом мире нет места таким как я. Почему? Ведь я не стою на его пути, на многое не претендую, многого мне просто не надо — я всего лишь пытаюсь найти свою дорогу в жизни, преодолеваю, как могу, трудности и терплю. Я хочу всего лишь так же как Иван жить с сознанием нужности своего существования. Всего лишь найти возможность самому себя обеспечивать, а не прозябать на подачках государства, питаться не тем, что оно положит в мою миску, а тем, что я сам себе смогу позволить и сам выбрать. Потребуется сидеть на хлебе и воде? Буду сидеть. Главное чтобы это был мой хлеб, а не казенный. Я хочу жить осмысленной жизнью, своей, а не той, которую навязывает мне безликое государство. Но Иван предлагает мне умереть. Почему? Потому

что видит во мне не человека, а исковерканное болезнью тело, от которого обществу нет никакой пользы. Но ведь это же не так, Ваня!

* * *

Может быть, добровольная смерть это выход. Может быть. Если она добровольная. Но меня к ней насильно подталкивали жизненные обстоятельства. Толкали без передышки. Они непрерывно сжимали вокруг меня пространство, вынуждая подвести, наконец, последнюю черту. Они давали мне понять что здесь, в этой жизни я лишний, ненужный, никчемный и несчастный, обреченный на постоянные физические и моральные мучения, на абсолютную зависимость от опекунов. Когда же я не понимал намеков, мне предлагали вот так прямо, без дипломатических ухищрений, взять и «повеситься».

Но я не люблю когда меня берут за горло. Да, я организовал для себя «запасной выход». Но потому он и запасной, что может не пригодиться. Никогда. Потому что мой сознательный выбор всегда был один — жизнь, а «неприкосновенный запас» — это на случай катастрофы. Которой, пока, не было.

Мою смерть вряд ли кто заметит. Для родных я уже мертвый, а государству, вообще по-фигу, хотя когда пришел срок идти его защищать — не только завалило меня повестками, сам военком прибежал, почесывая задницу, проведать «хитрожопого инвалида». Так какой резон мне умирать? У Смерти вариантов нет.

А Жизнь дает мне шанс. Шанс на успех. И я очень хочу попробовать его на вкус, оказаться в гуще событий, участвовать в них, влиять на них, и, по возможности ни от кого не зависеть. Не хочу быть обосранным пассивным зрителем, сваленным в вонючую лужу на обочине — не для этого я родился.

И главное: жить мне или остановиться — буду решать только я сам. Советчикам, просьба не беспокоить.

* * *

Через неделю Иван выписывался. Поговорив с женой, он определился. Операция, пока она не являлась жизненно необходимой, откладывалась «на потом». Ему дали направление приехать через полгода, на обследование. Окончательно поняв, что едет домой, парень очень обрадовался.

Все произошло примерно также, как и в тот вечер, когда Иван решил поговорить о целесообразности моей жизни. Мы были в палате одни, когда, совершенно неожиданно, Иван встал со своей кровати и подошел ко мне.

— Мне нужно с тобой поговорить, — сказал он, садясь ко мне на кровать.

Это меня удивило.

— О чем?

За все время, проведенное вместе с нами, я успел заметить, что Иван брезговал мной. Подавая мне что-нибудь по моей просьбе, он всегда старался сделать это так, чтобы ни в коем случае не коснуться меня. Тем более, он старался не приближаться ко мне, если в этом не было крайней необходимости. На мою кровать он сел впервые.

— Я хотел у тебя занять денег, — голос у него был просительный. Сделав небольшую паузу, он добавил: — На билет до Тюмени.

— У тебя же есть деньги?! — удивился я.

— Нет. Я все растратил.

Вообще-то, это было не мое дело, но об одолжении он просил меня, поэтому, я все же решил спросить: — На что ты мог это растратить? У тебя же было несколько сотен. Ты же сам показывал нам.

— Было. А сейчас нет, — в голосе его появилась злость.

— У меня есть немного денег. Но, это все что у меня есть и взять мне больше неоткуда.

— Я знаю. Ты не переживай. Я, как приеду домой, сразу тебе деньги вышлю, — он говорил уверенно, и я проникся ощущением, что проблем с возвращением не возникнет.

— А ты что, не мог жену попросить тебе деньги выслать? — отдавать последнее, что у меня было, не очень-то и хотелось. Что-то меня напрягало. Но Иван просил о помощи и отказать значило еще раз подтвердить его рассуждения о моей «бесполезности».

— Пока она мне пришлет, пройдет дня два или три. К тому же, когда я с ней разговаривал, она сказала, что сейчас в семье с деньгами проблемы. Я не работаю. Уезжая, я оставил ей денег, но за полтора месяца она все потратила. Дети все же.

Он меня убедил. В конце концов, чем я рисковал? Не могло же случиться так, чтобы он меня обманул. Он ведь на хорошо оплачиваемой работе работает.

— Возьми у меня в сумочке, — я указал на тумбочку. — В верхнем ящике. Только, у меня всего семьдесят пять рублей и больше нет.

— Да, да! Я знаю, — он открыл ящик и вытащил из сумочки

все деньги, которые у меня были.

— Ты мне, правда пришлешь? — еще раз я переспросил, надеясь, что по моему вопросу он поймет, насколько это для меня важно.

— Конечно, пришлю. Не переживай!

— Пожалуйста, пришли! Не обмани! Мне взять не у кого. А мне тоже скоро домой нужно будет ехать. Я и так, за эти два года, ни копейки не потратил, — я вдруг обнаружил в своем голосе умоляющие нотки. Видимо тоже самое заметил и Иван.

— Ну, что ты ноешь? — раздраженно поморщился он. — Конечно, верну. Для меня это — копейки. Ты что думаешь, я из-за копеек стану кого-то обманывать?

После его слов, я окончательно успокоился. В конце-концов, он был мужчина, нефтянник, северянин, глава большой семьи. Мужики слово держат.

Иван уехал. Перед тем, как распрощаться, он оставил мне свой домашний адрес. На тот случай, если понадобиться написать ему письмо, с напоминанием о долге. «Но, ты не переживай. Писать письмо не придется. Деньги я пришлю без напоминания», — заверил он на прощание.

Happy birthday to you!

По странному совпадению, мое переселение в другой мир было назначено и предпринято в день моего рождения. Мне исполнялось двадцать три, и происходило это 23 августа 1988 года. Вместо поздравлений и именинного пирога меня ждала дорога в мой ад.

Август в Астрахани — жаркий месяц. А ехали мы часа два с половиной. Самое ближайшее для меня место «по профилю» оказалось в сельской местности, в Камызякском районе, в поселке Волго-Каспийском. Волго-Каспийский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Поездка получилась мучительной, с двумя паромными переправами. Если учесть то, что в том году я перенес две операции и еще не вполне от них оправился, если учесть, что дороги в Астрахани оставляют желать лучшего до сих пор, а тогда это было… Каждый толчок на кочках и ухабах отдавался болью… Если добавить августовскую жару… В общем, поездка была настоящей пыткой.

Доехали мы к полудню. Жаркое солнце прокалило насквозь машину. Все мое белье было мокрым от пота, кожа невыносимо чесалась, от тряски ныл позвоночник, вдобавок разболелась и голова. Медсестра, сопровождавшая меня, пошла искать, кто бы меня принял.

Минут через пятнадцать вернулась. Врача не было. Никого не было. Дом-интернат находился в сельской местности и, как раз в это время, все разошлись по домам, на обед. Нужно ждать.

Прождав часа полтора, медсестра пошла снова. Вернулась она на этот раз уже через пол-часа.

— Едем назад. Не принимают.

— Почему?

Нет справки психиатра. Точнее — она есть, но нет печати удостоверяющей, что ты нормальный.

— ???

— Едем. Она сказала, так положено.

«Она сказала» и «так положено». Ключевые выражения. Спорить бесполезно. Мы поехали назад. Тем же путем, по тем же ухабам и кочкам, по той же жаре. Никто, пока мы находились на территории дома-интерната, даже не вышел ко мне, чтобы посмотреть. Не предложил воды. Да, в общем-то, я и не хотел воды. Может быть, и хотел, но в то время уже не мог думать о воде. Ни о чем я думать не мог. Было пусто. Пусто, как будто что-то выгорело и в душе, и в голове. В больницу мы вернулись часам к пяти дня. В общей сложности в этот день я восемь часов провел

в раскаленной машине.

Нас встретили с недоумением. Уже заканчивался рабочий день, и, отправляя меня утром в путь, увидеть меня вновь никто не рассчитывал. Вообще, в больнице я был нежеланный пациент. Во-первых, просто занимал койко-место, которое было нужно другим. Во-вторых, не очень хотелось врачам вообще видеть меня, после того «лечения», которое они учинили мне два года назад. Но я вернулся.

Печать поставили на следующий день, и я предпринял вторую попытку перемещения в пространстве на свое новое, и как я верил, последнее место жительства. На этот раз я летел вертолетом. Это была государственная премия. Не мне, конечно, а той растыке, которая забыла поставить печать на злополучной справке. Из-за капли чернил…

Меня на машине довезли до аэропорта, там, через заднюю дверь, загрузили в брюхо этого железного насекомого. Я впервые летал на таком «чуде техники». Вертолет был небольшой, предназначенный для перевозки больных из сельских районов в областную больницу. Так называемая «Санавиация». Шум стоял такой, что заглушал все, даже мои собственные слова, которые я пытался говорить медсестре, грустно улыбаясь. Видно не было ничего. Я лежал на носилках, которые стояли на полу вертолета, сильно чувствуя вибрацию.

Погода в этот раз стояла облачная и летели мы значительно меньше, чем накануне тряслись в машине. Приземлились метрах в пятистах от того самого дома, куда целеустремленно и последовательно помещали меня то ли обстоятельства, то ли государство, которое таких как я предпочитало содержать в медико-социальных резервациях. Через некоторое время к вертолету подошла машина и меня «перегрузили».

Минут через десять после того, как медсестра пошла показывать мои документы в «приемный покой», она вернулась.

— Возвращаемся.

— Как?! — я был близок к истерике. Я не стремился в это место, но я хотел, очень хотел, чтобы наконец закончилось это одуряющее состояние неопределенности. Чтобы можно было начать думать о том, «что дальше»; чтобы можно было осмотреться на новом месте, осмыслить ситуацию и пытаться, пытаться искать какие-нибудь пути к спасению, ну а в случае неудачи, когда придет ощущение окончательной катастрофы — воспользоваться «запасным выходом» и уснуть навеки, осознавая что сделал все, что было в моих силах.

— Возвращаемся, — повторила медсестра. — Нет справки о том, что ты действительно выписан из квартиры.

— Какой справки?!

В тот момент, я совсем забыл о бумажке, которую вложили мне в паспорт. Машина двинулась к вертолету. Я ничего, абсолютно ничего уже не понимал. Мозг лихорадочно работал и заставил меня залезть в сумочку, где лежали документы.

— Может вот это та самая справка? — я вытащил из сумки и протянул медсестре бумажку с печатью.

— Да, наверное.

Машина остановилась, потом развернулась. Подъехали. Медсестра исчезла и быстро вернулась, довольная.

— Да, это она. Приняли.

Носилки извлекли. Рядом с машиной стояла женщина в белом халате.

Я заметил ее, ошалелый взгляд и услышал: «А-а-а… если б я знала, что он в таком состоянии, я бы приняла его еще в первый раз…»

Ну, не… Стоп! Лучше помолчать.

* * *

Меня внесли. Я огляделся. Стены, выкрашенные грязно-голубой краской, низкий пожелтевший потолок с длинной, молниеобразной трещиной, пролетевшей от двери к окну. Маленькая тесная палата. Три койки. Соседи. Один — по виду ему за семьдесят — непрерывно и пристально смотрит на меня малоосмысленным взглядом и беззвучно шевелит губами. У него старческий маразм. Второй, вроде немного помоложе, все время лежит на койке, зовет няню и разговаривает сам с собой. И зачем, спрашивается, меня осматривал психиатр? В воздухе разлит запах застоялой мочи. Он смешивается с запахом готовящейся на кухне пищи и наполняет пространство вонью разлагающейся жизни…

Маленький сельский дом-интернат куда свозили немочных и брошенных стариков доживать последние дни — Нараяма* районного масштаба. Это был конец. Я чувствовал, что теряю способность рационально мыслить, что меня затягивает, заглатывает черно-красный вихрь эмоций. Перед моими невидящими, залитыми чем-то горячим, глазами бешеным хороводом понеслись картины недавнего и далекого прошлого, чьи-то знакомые лица, ученические тетради, трубки капельниц, спинки больничных коек, фигуры в белых халатах, стены, потолки, каталки… После всего перенесенного, после операций, отчаяния, борьбы и надежд я оказался там куда больше всего боялся попасть. Какой непостижимый подарок преподнесла мне

судьба на двадцатитрехлетие! Палата, в которой я очутился, казалась мне чудовищной ямой, бездной, глубочайшей в мире могилой. Я лежал на дне ее и глубже было только мое отчаяние: у меня не было ни единого шанса выбраться наверх, туда где свет, а свежий ветер гоняет облака по голубому небу, где люди общаются, дружат, любят, делают работу, воспитывают детей и не знают о том, что существуют такие вот отстойники государственного милосердия, оказавшись в одном из которых я мгновенно лишился всех своих иллюзий и призрачных надежд на будущее.

Чего ради я морочил людей, правдами и неправдами втягивал в орбиту своих проблем, вынуждал их идти мне навстречу, помогать мне, вкладывать в меня энергию, тратить на меня свое время, чтобы вот так в одно мгновение и моя жизнь, и их труды оказались бездарно замурованными в сельском доме призрения, откуда вырваться мне можно было только на кладбище? Итогом всех моих усилий и попыток жить «по-настоящему», оказалось койко-место в тесной, пропахшей мочой комнатке убогого социального учреждения. Я делал все возможное, чтобы не попасть в приют и все же оказался в нем. Для чего надо было бороться на пределе возможностей, если такой печальный результат просчитывался с самого начала моего заболевания? Одержимый наивностью, я надеялся переломить предначертанное, но потерпел полное поражение. И вот, раздавленный, валяюсь со своими носилками на койке и с ужасом понимаю, что лишился всего. Теперь уже никогда у меня не будет друзей и просто добрых знакомых, а значит никогда не будет человеческого общения, не будет поздравлений с днем рождения, Новым годом, не будет образования, не будет никакой работы и я никогда не стану нужным хоть кому-нибудь во всей Вселенной. Я не хотел в это верить, но, действительная жизнь доказала… Я чувствовал как воля покидает меня, а вместе с ней уходит и желание что-то делать для своего спасения. Я обречен. У меня не оставалось будущего. Это было написано на стенах и потолке моего нового жилища, это отпечаталось на безучастных, невменяемых лицах моих соседей, это читалось в любопытствующих глазах нянечек, их деловито-прискорбных вздохах: «Бедненький», это витало в тяжелом, разлагающемся воздухе. Я чувствовал, что даже без помощи снотворного долго здесь не протяну. Просто зачахну. Очень скоро. Неделей раньше, неделей позже — значения не имело. Как уже не имела значения моя жизнь — маленький комок беспомощной человеческой плоти неумолимо затянутый в этот ужасный канализационный сток СОБЕСа — районный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

«В какой гроб они меня положат: в стандартный или сделают маленький «на заказ»? — тупо думал я подводя итог своей жизни. Я сломался. Сил не было. Внутри меня что-то скулило и подвывало: хотелось плакать навзрыд и одновременно во все горло выкрикивать грязные ругательства в адрес непонятно кого. Меня лихорадило. Я чувствовал что начинаю бояться большого гроба и решил обязательно упросить администрацию интерната сделать для меня гроб маленький, по-мерке, вроде как именной, чтобы в последний путь уйти как можно более пристойно — раз ничего в жизни не получилось, то хоть в этом…

* * *

В первый, самый страшный день поселения в доме-интернате у меня, кажется, «поехала крыша». Было от чего: из столичного лечебного заведения в стенах которого у меня еще теплилась надежда на будущее, я практически мгновенно переместился в одно из самых бедных сельских госучреждений для умирания. Я ожидал от коротенького, оставшегося мне будущего только плохого, плохого и еще более худшего. И уж конечно не знал и даже мое воспаленное, полусумасшедшее, на тот момент, сознание, питавшееся последние годы одними иллюзиями, даже оно не могло предположить, что события уже начинали разворачиваться в обратном направлении, что скоро я все-таки смогу вырваться отсюда, что ровно через одиннадцать лет — в 1999 году, 23 августа (бывают же такие совпадения!) — на свое тридцатичетырехлетие я получу очередной подарок — письмо из американского посольства, которым меня уведомляли об открытии визы и о разрешении на въезд в США. Потерявший волю к жизни, готовящийся к близкому концу, я и вообразить не мог, что проживу еще как минимум одиннадцать лет и что эти одиннадцать предстоящих лет окажутся наполненными такими головокружительными для меня событиями, что воспоминания о них потребуют, пожалуй, другого места и дополнительного времени.